

Людия Сычёва

При власти



Лидия Сычева

Три власти. Сборник рассказов

«ЛитРес: Самиздат»

2012

Сычева Л.

Три власти. Сборник рассказов / Л. Сычева — «ЛитРес: Самиздат», 2012

В чем тайна загадочной русской души? Может быть, в том, что ею владеют не одна, а целых три власти? Новая книга Лидии Сычевой – это вдохновенный и честный рассказ о поисках счастья, любви, красоты, гармонии и справедливости. Жаль, что не все дороги ведут к истине, а жизнь так трагична и коротка...За эту книгу автор удостоен Международной литературной премии им. Антона Дельвига (2013) и Большой литературной премии России (2017).

Содержание

Звёздные ночи в июле	5
Три власти	5
Звёздные ночи в июле	9
Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом	13
Наследник	21
Христопевцы	24
Обед в Совете Федерации	27
Два гусара	29
Ну и гарбузы!..	32
Альфонсинида	38
Новогодняя ночь	41
Ненаписанное интервью	44
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Звёздные ночи в июле

Три власти

Ветреный, сизый вечер. Осень, стынь. И всюду – свинцовый цвет: в низко насуспенном небе, в брусчатке Красной площади, в решетках Александровского сада, в шинелях ладных и вежливых военных, что проверяют документы у Троицких ворот.

Сергей спрятал паспорт во внутренний карман пиджака, и не спеша – время у него было – зашагал по мосту, ведущему в Кремль. Он остро досадовал на себя, на свою неловкость, непривычность к подобным процедурам – был он, кажется, слишком суетлив, когда подавал документ и приглашение в конверте, напечатанное на отличной, очень плотной бумаге цвета топленого молока: «Уважаемый... Имеем честь... Будем рады видеть Вас на приеме... Сбор гостей...» Впрочем, другие приглашенные, как он заметил, тоже чуть волновались, нервничали. Сердце его билось радостно, беспокойно – будто в ожидании чуда, которое обязательно должно с ним сегодня произойти.

Сумерки быстро сгущались. Он миновал куб из стекла и бетона – здание Дворца Съездов – и, повинаясь интуиции (спросить не у кого, другие гости давно его обогнали, да и стыдно было бы признать себя новичком), повернул направо. Дул резкий, пронизывающий ветер, было зябко, словно ранним утром, когда из тёплого дома выходишь на неприветливую улицу. Тьму пространства разрезали толстые, мощные лучи прожекторов. Свет падал мягкий, тепло-золотистый. Ноги сами вели его в нужном направлении – и Сергей вдруг узнал, угадал Соборную площадь, столько раз виденную им в учебниках истории, в документальной хронике и даже в кино.

Он оказался один, совершенно один, на этом небольшом квадратике кремлёвской земли, стеснённой древними соборами, где, как он помнил, покоились древние государи земли русской.

Ветер внезапно стих, контуры храмов темными громадами вырисовывались в небе, и что-то таинственное, древнее, грозное, много больше, чем человеческая жизнь, неожиданно явилось перед ним.

Сергей ошеломлённо сделал несколько шагов и, наконец, застыл в центре площади. И вдруг он со страхом, а после с ликованием услышал, как бьется сердце великой страны. Он мог поклясться – эти глухие, размеренно-тяжелые удары доносились из тьмы веков; они были могуче-основательными, глубинными, но – он повел плечами, так жутко ему стало – иногда будто замирали, пропадали, и всё равно услышанные тоны казалось величественным, прекрасными. Глаза его мгновенно стали влажными.

Он был, конечно, взвинчен, взволнован, восприятие его было слишком нервным, острым; Боже мой, вихрем пронеслось в его голове, неужели, ощутив то, что сейчас почувствовал он, можно чего-то бояться?! В смысле – бояться умереть, пострадать за это великое сердце, чтобы оно билось дальше и дальше, всегда?!

Ему казалось, что он мчится на лыжах с огромной горы, и душа его трепещет – он должен сейчас разбиться, погибнуть, но он всё летел и летел; так вот, успевал он думать, неужели почувствовав свою призванность владеть и властвовать, можно ещё чего-то хотеть?! Смешными в этот миг – вроде детских игрушек – казались ему мирские сокровища: дворцы, яхты, счета в банках, экзотические острова. Все они будто лежали у его ног, а он предпочёл им вечность... Он вдруг почувствовал себя Иваном Грозным, Македонским, Цезарем и ему казалось, что это он правил настоящим, прошлым и будущим разноплеменной империи.

Перед тем, как пройти в зал приёма, нужно было зарегистрироваться у симпатичных молодых людей (они называли номер столика, Сергею достался 21-й), и этот церемониал собрал даже небольшую очередь – человек в 10–15. От резкого запаха стойких духов, от чужих обостренных энергий, которыми, казалось, была переполнена атмосфера просторного и роскошного помещения, у него закружилась голова. Сергей старался, чтобы взгляд его не был пристальным, он чувствовал в себе особую собранность, ясность и чёткость в движениях, которая когда-то появлялась у него перед горнолыжными соревнованиями (теперь он забросил спорт – жаль, конечно). Он пытался смотреть мягко, вести себя раскованно, естественно, но был напряжен и видел то, на что в обычные дни совсем не обращал внимания.

Были здесь дамы после сорока, одетые по-женски, но с такими закаменевшими лицами, что он понял – множество государственных или деловых обязанностей давно поглотили их пол, и они даже не подозревают о радостях физической любви; были богачи, миллионеры (или даже миллиардеры), они вели себя как завсегдатаи, их «статус» выдавали не бриллиантовые запонки, а многолетняя привычка к дорогой одежде и «светскость», с которой они вели беседы с себе подобными; были растерянные новички со свежими, как правило, плохими прическами и неуклюжими нарядами; были чиновники – «кувшинные рыльца» – от сидячей работы у них сильно обвисала та часть тела, откуда растут ноги, странно, что таких физических явлений не наблюдается, допустим, у водителей автобусов, подумал Сергей; были здесь и иностранцы – с авангардизмом в одежде и чувством глубокой растерянности и непонимания на лицах, они фотографировали интерьеры на мобильные телефоны, и никто не останавливал, не мешал им.

Сергей мучительно узнавал лица, что когда-то видел по телевизору: образы – экранный и реальный – сильно разнились. На прием пригласили и трёх его коллег – учёных-физиков, но это были «мэтры», светила, к которым он никогда бы не решился подойти. Они смотрели на происходящее без всякого ликования, скорее устало, будто пришли не в Кремль, а на очередное заседание кафедры, и это удивляло, ранило Сергея.

Наконец всех пригласили в Георгиевский зал. Высоко, на балконе, оркестр играл классическую музыку, сияла позолота, официанты в белых перчатках скромно стояли у стены. Стол Сергея был почти рядом с «президиумом», но вместо Первого лица прием открыл малоизвестный человек из администрации, с некрасивым телом, которое не скрывал дорогой костюм, с ассиметричным, неприятным лицом. Он говорил в микрофон простые, обыденные слова, явно стараясь понравиться собравшимся, и его речь усиливала акустика сводчатого потолка (новички всё озирались вокруг, созерцая кремлёвское великолепие). Сергей внимательно вслушивался в «послание»: может быть, вещал человек, облеченный властью, жить следует для того, чтобы однажды оказаться в этом зале... Слова перевирали, переворачивали вверх тормашками то чувство, которое Сергей испытал на Соборной площади и ему стало остро-больно. «Не так, не так!» – упрямо шевелил он губами.

Бело-золотой зал, белые скатерти, белая посуда, белые стулья. И – сияние хрусталя в огромных люстрах, в резных бокалах. За столом – они постепенно все познакомились – оказались несколько сотрудников МИДа (это были обычные протокольные люди с брюшками, может быть, в юности за рубеж их звала не романтика дальних странствий, а возможность купить вне очереди шкаф или машину, – думал Сергей), были и «простые смертные» – молодой наивный парень, лауреат конкурса «Учитель года»; пожилой сельский врач, тоже с заслугами; скромная, с узкими плечами, девушка-виолончелистка, стипендиатка фонда «Надежды России». Были и две немки – кажется, бизнесменши. Одна из них постоянно улыбалась, похоже, она не прочь была завести знакомство с загадочными русскими, другая – задорная, лохматая, напоминала ласкового мопсика. Они не знали языка, но мидовцы перевели – дамы предложили, когда наступила их очередь произносить тост, выпить «за этот великолепный зал». Официанты под-

ливали вино в бокалы (крепких напитков не подавали); «Прекрасное Бордо!» – несколько раз повторил, качая головой, один из дипломатов. Учитель года, родом, кажется, из Вязников, листал меню (на двух языках, несколько страниц кремовой бумаги наподобие грамотки было скреплено витой золотой веревочкой) и тихонько ахал: «Камчатские крабы с муссом из авокадо... Филе бранзины с овощным ризотто в соусе «шампань»...» Сергею, несмотря на «прекрасное Бордо», стало грустно. Он почти ничего не пил, не ел.

Потом был концерт. На небольших подмостках пела крупная женщина, сильно декольтированная, у неё были густые и пышные чёрные волосы, на ослепительно-белых её ключицах – таких нежных и сильных – замечательно блистали тёмно-коричневые камни колье, и платье тоже было насыщенного, тёмно-коричневого цвета. У неё был партнёр, учтивый пожилой баритон с круглым и мягким голосом, и когда он пел, то чувствовалось, что он знает все возможности своего «инструмента», голос его слушался, и казалось, что солист управляет знакомой, хорошо объезженной лошадью и давно уже не ждёт от неё никаких неожиданностей.

Холёный конферансье, скрывающий за безупречными манерами лёгкое пренебрежение к собравшимся, объявил очередной номер. Женщина в декольте осталась одна. И с первых звуков знакомого, многократно слышанного романса, время будто замедлилось, стало глубже, и с каждым новым словом поток иного мира, иной жизни, всё сильнее захватывал Сергея. Он вдруг забыл, где он, что он... Он слышал только историю любви, которую рассказывала ему певица, и чуть не заплакал от переживаемого потрясения – в её голосе была большая и трагическая власть, и странно было чувствовать эту волю и силу от обычной, в общем-то, женщины. В сознании его мелькнула Соборная площадь; как же так, мысленно удивился он – за певицей не было ни тысячелетней Руси, ни космических войск, ни глухих закоулков сумрачной страны с полуразрушенными избами. Был только её дар, её голос, простой смертной женщины, но в эти минуты он готов был стать перед ней на колени. Он не мог оторвать от неё глаз – на певицу хотелось смотреть и смотреть, слушать и слушать, пить это божественный голос, в котором тонуло его сердце. Он подумал: неужели где-то есть мор, голод, болезнь; несчастье, смерть, безденежье; только красота, чистота, только эта райская музыка напоминала о том, что есть на свете страдание, но и страдание было неземным, возвышенным – женщина пела об угасающей неразделённой любви. Она пела... Неужели это что-то изменило в мире, что-то качнуло, сдвинуло в душах людей?!

Под впечатлением музыки он быстро и нервно шагал по Троицкому мосту; власть трагического и покоряющего искусства захватила его совершенно, целиком.

Он вошел в подземный переход, ведущий к метро, пахло спертым, несвежим воздухом, и он внутренне сжался, закаменел, предчувствуя встречу с обыденной и горькой жизнью: нищими старухами, что, трясясь от болезней и старости, будут просить сейчас деньги на жизнь, калеками, которые, шокируя жуткими увечьями, собирают средства на протезы, бомжами, выглядывающими из-за тёмных киосков как существа иного, потустороннего мира.

Но в переходе было пустынно, малоллюдно, и только лысый музыкант играл на скрипке «Полонез Огинского»; играл привычно, «заезжено», одной техникой, думая, наверное, о чём-то другом, а не о «прощании с родиной». Сергей поспешил мимо, чтобы не растерять своего настроения, как вдруг заметил мальчика, может быть, лет пятнадцати, который чуть в стороне потрясенно слушал скрипача.

Это был обыкновенный, русский подросток, с простым, румяным лицом. Глаза его блестели, рот полуоткрылся в удивлении. Вся гамма чувств – от высокой печали до возвышенной радости – тенью пробегала по его лицу, в руках мальчишка судорожно мял чёрную вязаную шапчонку, которую стащил с головы. «Как в храме», – подумал Сергей.

И вдруг он понял, угадал, что мальчик впервые в жизни слышит эту музыку, и ему стало нестерпимо жаль эту обворованную душу; а потом он остро позавидовал его радости, его потрясению и благодарно взглянул на скрипача.

После чопорно-богатого, сияющего позолотой зала приемов, метро и люди в нём казались Сергею припорошенными угольной пылью. Все они были одеты будто в робы – в чёрные, большей частью, одежды, лица их виделись определенными и грубыми, наполненными внутренним отчаянием. В глаза бросилась застарелая вагонная грязь, а реклама вдруг поразила запредельным убожеством и крикливостью. Он с удивлением, по-новому, взглянул на картинки, где улыбающиеся девицы предлагали майонез, толстяки в очках – кредиты, семейка с оскаленными зубами – бульонные кубики. Ему стало страшно – все эти рекламные образы хотели разорвать его, засосать внутрь своих торговых сетей, использовать и выбросить. Сергей зябко повёл плечами. Он с сожалением оглянулся вокруг, нет, никто из пассажиров не замечал опасности! Народ устало дремал или читал лживые газеты или некрасивые, дешевые книги. Вагон чуть покачивался, гремел, стучал... И вдруг он увидел, узнал, сначала радостно, потом разочарованно, а после уже восхищенно – женщину, которая только что пела в Кремле.

Она ничем не выделялась среди обитателей метро – джинсы, короткая чёрная куртка с капюшоном. Он смотрел и не мог оторвать взгляда: она была не роковая красавица, а почти дурнушка, с круглым, простым лицом; но он-то знал её власть и силу, знал её право покорять – с первых звуков, тактов; и теперь он был сражен её будним преображением, но оттого она стала ему ещё дороже, родней. Она принадлежала этим людям, «припорошенным пылью», этому грязному вагону, залепленному уродливой рекламой, и было в этом что-то трогательно-возвышенное, настоящее. Рядом с ней стоял пожилой баритон, её партнёр, они говорили, и по выражению их лиц Сергей понял, догадался – они не только хорошо понимали друг друга, они – любили. Они вышли на следующей остановке, что-то негромко обсуждая, и двинулись рядом, близко, и в этом было много тайного и радостного.

...Да, была ещё одна власть – власть любви (наутро он думал об этом), и вдруг он понял, что она, любовь обыденная, мирская, для него ничего не значит по сравнению с той глубинной властью, которую он ощутил вчера. В России возможно только самодержавие, он почувствовал это явно, сильно и знал, что если бы ему принадлежала такая власть, он не отдал бы её никогда, никому.

Сергей вышел на улицу. День было пронзительно-солнечный, и после холодной ночи ярко голубело небо, по чёрным тротуарам тут и там лежали огромные кленовые листья, оранжевые, жаркие. Природа словно на время отодвинула громаду города, и главным сегодня было это слепящее солнце, эти удивительно белые, огромные, будто надутые изнутри, кучевые облака, эти стойкие стройные клёны, трепещущие в предчувствии неизбежной зимы.

Потом он быстро шел, потом почти бежал – легко, не чуя под собой ног – на свидание, потом он любил и целовал женщину, которую давно, страстно и мучительно желал; и после, когда они шли рядом, сидели в кафе, когда говорили и не могли наговориться, и когда он с радостью и приязнью снова и снова смотрел в её глаза, и слушал её признания, он вдруг подумал, что все царства мира, все венцы кесарей он бы сейчас отдал за то, чтобы никогда, ни на минуту не разлучаться с ней. Он, волнуясь, высказал это ей вслух, а она улыбалась, качала головой, гладила его по руке, и говорила, что не верит...

Звёздные ночи в июле

– Пожалуйста, сюда, Андрей Георгиевич, – нервнооживленно приглашала его молоденькая тележурналистка. Угрюмые малые ставили свет, оператор с божьей бородкой укреплял камеру на штативе.

Браташов смиренно, всем своим видом показывая: «Что поделаешь, я в вашей воле», – подчинился командам. Журналистка (Елизавета Зингер или Дингер, он не расслышал) была скорее стильной, чем красивой – искусно накрашенная, худощавого сложения, в одежде, которая напрочь скрывала наличие каких бы то ни было форм – если они, конечно, имелись. Браташов знал силу своего обаяния и одарил это юное создание долгим внимательным взглядом – он уважал телевидение, и всегда с особым тщанием относился к подобным съемкам. Даже небольшой сюжет, мелькнувший в новостях, может решить многое.

С детства у Браташова было хорошо развито боковое зрение, и сейчас он видел, как после его взгляда еще нервнее и лихорадочнее стали движения Елизаветы Зингер-Дингер, она засуетилась, заспешила, расставляя меланхоличных и молчаливых осветителей, которые всем своим видом говорили: «А нам всё по фигу. Нам что шкафы, что софиты, что бомжи, что киношники. Гоните бабки – у вас вечно обслуживающий персонал в пролете». Браташову нравились угрюмость и неспешность, с которыми эти малые двигались по площадке... Он подумал: не подбодрить ли ему девушку еще одним лучезарным взглядом, но решил, что это будет уж слишком щедрым авансом с его стороны. «Потом. После съемки», – дал он себе задание, и чуть прикрыл, якобы от слепящего света, глаза.

Нынче утром, разглядывая себя в зеркало, он усмехнулся: «Достиг верховной власти я». Браташов стал фигурой номер один в отечественном кино – по степени влияния, популярности и по масштабам новых проектов. Он нравился себе – в шестьдесят у него было крепкое, сбитое, мускулистое тело, не отягощенное излишним жировым запасом, у него – загорелое лицо голливудского героя-любownika, частокोल собственных (а не вставных) зубов, спрятанных за густыми усами с проседью и внимательные глаза со счастливым свойством – их цвет мог меняться в зависимости от настроения... Сейчас они были серыми с искрами – признак здоровья и довольства собой. Браташов облачился в светлую хлопчатобумажную пару, босыми ногами забрался в мягкие мокасины – это по новейшей московской моде. В задумчивости он провел рукой по лбу, плавно переходящем в лысину – она его тоже красила, будучи знаком многотрудия и любви к размышлительности. На мизинце ярко сверкнул крупный перстень с бриллиантом – Браташов носил его не из-за любви к драгоценностям, а как символ власти и состоятельности. Он привык режиссировать свою жизнь и всегда себя видел как бы со стороны, глазами потенциального «зрителя». И сейчас этот кадр – известный кинодеятель у зеркала – ему нравился.

– Приступим, – заискивающе сказала Зингер-Дингер, и он ей поощряюще кивнул. Интерьеры, где велась съемка, были затянуты мешковиной – стол-куб, пара кресел, боковые навесные панели, создающие некое подобие стен. Тележурналистка присела на самый краешек мешочного кресла и сцепила руки так, что у нее побелели пальцы. Браташов направил на камеру взгляд бесконечно уверенного и преуспевающего человека – глаза его были ровнотиние. Хорошо поставленным голосом (спасибо ГИТИСу в молодости), внятливыми, доступными народу фразами, он стал говорить о состоянии отечественного кино, о трудностях творческого процесса и о национальной идее, которая так необходима России. А суть идеи проста – каждому нужно много и терпеливо работать на своем месте.

– А сейчас, – бодро присоединилась к нему журналистка, – Андрей Георгиевич в честь открытия нового кинокомплекса с двенадцатью залами задует свечи на праздничном торте.

Двое молодцев в поварской униформе внесли аляповатое произведение кулинарного искусства в виде гигантского средневекового замка (или коттеджа нового русского). Сооружение – тут и там – было утыкано витыми свечками. Браташов, обаятельно улыбаясь, изображая радость именинника, «выполнил почетную миссию»...

В нижнее, «демократическое» кафе кинокомплекса он спустился со своим коммерческим директором. Тут не было элитной мешковины и кресел, народ теснился за красными пластиковыми столиками, прихлебывал дрянной кофе из бумажных стаканчиков, который бесплатно разносили всем желающим симпатичные молоденькие девчонки-официантки (шла очередная рекламная акция). Браташов неспешно тянул «фирменный» кофе, слушал и не слушал нудный бубнеж Владика про новый проект. Вкус суррогатного напитка вдруг вернул его в голодную и такую далекую теперь юность, и он вспомнил то, к чему давно уже не возвращалась его память. Мальчиком он смотрел кино на летней площадке, вечером экран натягивали между стволами засохших деревьев. Билет стоил 50 копеек. Или нет, двадцать. Впрочем, если опоздать, прийти на 10–15 минут позже, то вообще можно было обойтись без денег – площадка не была огорожена.

Он ездил сюда, на «Хамловку», на велосипеде. Как давно это было – совсем в другой жизни, – поразился вдруг Браташов. Этот городишко – Славкино – был страшно далеко от Москвы, а он – ещё дальше от своей нынешней «верховой власти». Ну вот, что-то он делал, чего-то желал, бегал в угаре, и очнулся уже в нынешнем своем состоянии, а те мальчики, что гоняли вместе с ним на великах, позже служили в армии (в ракетных войсках), учились в ГИТИСе, они почему-то так и остались в тех своих стоячих скучных жизнях... Застыли верстовыми столбиками в его памяти. А он уехал, умчался далеко-далеко от них – приятелей детства, бедной юности и честолюбивой молодости. Думы эти взволновали Браташова. Он почему-то именно сейчас понял – ну, не одними же личными заслугами и талантами двигалась его жизнь?! Кто-то нес его на своих крыльях, оберегая от слишком чувствительных ударов судьбы, отводя от дурных и подлых людей, направляя к кратчайшей тропинке-восхождению, которую, наверное, видел только он – темно-серыми в тоске глазами... Положа руку на сердце, он вовсе и не считал себя гением. Ну, талантливый, ну, не жадный. Всегда умел ладить с людьми – не заискивая, женился на москвичке (по любви), тесть – влиятельнейший туз тогдашнего кино...

– Андрей Георгия, можно с Вами сфотографироваться? – две девушки, трепеща от волнения, стояли рядом. Вопросила та, что побойчее, страшненькая от неудачно наложенного грима, косметики то есть. Браташов понимающе кивнул, Владик осчастливил девушек, щелкнув «мыльницей». А между столиков уже пробиравлась дама бальзаковского возраста с эффектным цветным платком на голове, давно и безнадежно влюбленная в Браташова. «Вы гениальный режиссер. Вы такой актер, которому нет равных не то, что у нас, но и в Европе, не говоря уж о Голливуде с их примитивными штамповками», – он морщился от этой суперлести, дама была ему неприятна – у нее был дар все его действительные заслуги преуменьшать неумеренным восхвалением. Браташов оставил Владика на расправу фанатке, а сам позорно бежал через служебный вход.

Серебристый «Мерседес» мчал его за город, домой, в коттеджный поселок «Яблонево» – к чистому воздуху, воде, тишине и лесу, а также к круглосуточной охране на въезде и элитным соседям из мира серьезного бизнеса и больших денег. Судьба наградила его не только известностью, но и состоянием. Бедности он не знал и боялся её. Беда – да, творческие муки – да, но унижительную тень нищеты он чувствовал только в детстве.

Браташов прокручивал в голове эпизод с нынешней телесъемкой. «Мне неинтересны люди неверующие», – это он, хорошо, пожалуй, завернул. А вот: «Все устали от разговоров, пора делать дело, это и есть наша национальная идея», – похоже, несколько топорно, даже для сегодняшнего ТВ... У него была давняя, укоренившаяся с юности привычка – анализировать прожитый день, и теперь иногда ему начинало казаться, что он не живет, а смотрит про себя кино. Фильм о буднях делового человека, давно уже не принадлежащего себе. Лента, поставленная всемогущим Главным Режиссером. А у него, героя этого кино, кажется, почти не было прав на импровизацию в «кадре»...

В дороге легко думается, и ему вдруг пришла мысль о том, что мафиози, ставший впоследствии легальным бизнесменом, или военный преступник через 20 лет после совершенных злодеяний, становятся совсем другими людьми, а тех, прежних, нет. Наказание, если оно не настигло человека вовремя, спустя годы уже не имеет ни смысла, ни силы. Он, Браташов маленький, и он, Браташов нынешний, – совсем разные люди. И от этого открытия ему почему-то стало горестно.

Почему же? Мысль его заработала напряженно. Преступление, да, преступление, – это было ключевым словом в надвигающемся размышлении, и оно как-то связывалось с его жизнью, и с тем обыденным, что происходило сегодня. Он невольно поморщился. Ну, открыл новый киноцентр. Не храм искусства, и не мастерскую, и даже не советский «общепит» – а так, «фаст-фуд». «Быстрая еда», мгновенные эмоции. Ничего вечного. Впрочем, может в этом и есть высшая мудрость жизни?! Браташов усмехнулся той спасительной лазейке, которую предлагал ему разум. Нет, он, конечно, «не орел», но и не такой уж трус, чтобы оправдывать себя за явную подлость. Но об этом потом, потом... Когда полетел Гагарин, ему было восемнадцать, страна отправляла ракеты в космос, строила города. Теперь «малые предприятия» выпускают пластмассовые безделушки, мэры открывают ларьки, деятели искусств – он вспомнил себя сегодня – торговые центры. Что-то главное замутилось, исчезло. Искусство украдено.

Но при чем тут он, Браташов? «А кто же?» – услужливо и ехидно ответил «закадровый» голос. Не ребята же с Хамловки? Кто-то честно спился, кто-то помер, кто-то тихо жил в своей маленькой жизни. Они – «простые люди». А Браташов, такой же обычный и смертный, должен был грести «против течения», бороться и жертвовать, не жалеть себя ради других. Ради этих «простых», которые прожигали жизнь в доступных удовольствиях. А у него – «долг», «самоограничение», «идея». И в утешение – дар, талант, энергия. Много в нем было сил, данных ему неизвестно кем и неизвестно для чего.

Он шел к своей нынешней «верховной власти» – тут Браташов поморщился от воспоминаний – нет, не по трупам, конечно, а от компромисса к компромиссу, меняя талант на видимые личные блага. Ну, так вышло, так сложилось. Плетью обуха не перешибешь, стенкой лба не пробьешь, Москва слезам не верит – народная мудрость. Расчетливо менял, и не все «оптом», а по капельке. И все равно главный смысл утратился, ушел. Незаметно, но прочно и навсегда. По иронии судьбы, это случилось одновременно с распадом страны. С тех пор Браташов жил по инерции, «деловыми интересами», удачно присосавшись (ну, перед самим собой чего хитрить!) к нынешнему строю. Изображая из себя величину перед Зингер-Дингер...

Но он-то знал, что если бы его дар состоялся до конца, то действительность вокруг была бы совершенно иной!.. Браташов никогда не придавал «своей жизни в искусстве» вселенского значения. Нет, о другом шла речь! Тонкая настройка души сбилась. Он по-иному видел, чувствовал, говорил. Мир исказился в его восприятии – «на входе», а «на выходе» он только множил «кривые зеркала», обманывая себя и других. И это – «фабрика грёз»?! Жизнь так коротка, и люди думают, что когда они набивают ее всякой чепухой – погоня за бытовыми удобствами, комфортом, изысканными блюдами, ощущением богатства, машинами, дорогами домами – этим самым они и ловят жизнь за хвост. Но это заблуждение. Жизнь дана для чего-то более существенного. И это главное у Браташова было. Когда-то...

А впрочем, наша убежденность в чем-то – просто весьма высокая степень заблуждения. (Почему-то в самые тяжелые, безотрадные минуты жизни именно эта мысль настойчиво преследовала Браташова.) В состоянии убежденности у человека есть точка опоры, посох, с помощью которого он идет по болоту жизни. И вдруг – посох выпадает из рук... Так кто же прав: те, кто убеждены, или те, кто во всем сомневается?! Или те, кто вообще не дает себе труда думать?

...Браташов смотрел на мелькающие в окне закатное небо – в Москве стояли «белые ночи», и в начале двенадцатого было еще светло. Синие тучи с багровыми поленьями зари ужасно стояли у горизонта. Почему-то, когда он видел такое небо, ему было страшно, тревожно. Ему всегда было страшно и тревожно, когда он выходил после просмотра плохого фильма. Ему не хотелось жить. И он недоумевал: как же другие этого не ощущают?! Как они могут смеяться, шутить – будто ничего не произошло?! И это было единственное чувство, теперь связывающее его с детством. Правда, когда он был мальчишкой, у него не было нынешних обязанностей – досматривать бред больных душ до конца. Он прыгал на велик (предмет неоднократных насмешек сверстников, рама машины была скроена по «женскому» образцу) и гнал в ночи, гнал, свободный и счастливый, куда глаза глядят. И всё забывалось, и небо было высоким и звездным, и много было жизни впереди, много тайн и открытий. И там, на далекой Хамловке, он никогда не видел такого страшного – с горящими поленьями далекой зари – неба. Зарезанный закат. Браташов поднял тонированные стекла, закрыл глаза. «Мерседес» мягко летел по совершенно пустой трассе...

Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом

Мне хотелось остановить время и задержаться в этом милом городе (а для кого-то он был «дырой», «обыденностью»), здесь, где так горько пахло у озера тополиной корой, где тихо трепетали берёзы, нашептывая будущее, где были тёплые скамейки (на каждую из них я садилась, чтобы запомнить увиденное). Этот собачий брёх, петушьи перепевы по утрам, комариные ночи, тёмные срубы старых домов, кирпичные цеха дореволюционных фабрик, блеск ещё теплой, ласковой воды, бегущей на берег мелкими рыжими волнами, эта изнурительно-длинная служба в высоком храме, где по потолку идут Св. Иоаким и Св. Анна – мудрость и молодость... Так я возвращалась к себе, к той жизни, которой я должна была бы жить.

Этот старинный город был озарен моей зрелостью, ушедшей молодостью и моим чувством к тебе. Меня удивляли здешние дома – особо статные, с глазастыми окнами, высокими крышами (на одной из них кудрявым чубом вился хмель). Новые дома уступали старым в статности, дело было в пропорциях, в том невидимом глазу чуть-чуть, что придавало давним постройкам особо горделивый, подтянутый вид.

Здесь были широкие, с высокими деревьями – тополями, клёнами, липами, березами – улицы, которые носили революционные имена: Интернациональная, Октябрьская, Каляевская, Калинина, К. Маркса.

В старом дворе, рядом с оградой храма, у ржавого детского грибка (песок никем не тронут) седой задумчивый мужчина играл в шахматы. Вчера он бился с молодым парнем, сегодня – со своим сверстником. Огромная овчарка лежала на боку, лениво наблюдала за мудрёной игрой. Думала, наверное: до чего же вы глупый народ, люди!

Ехала я сюда на электричке. Три женщины, давно и хорошо знакомые друг с другом, читали газету бесплатных объявлений: требуется встречающий швейцар у ресторана, работа 12 часов (час работы, час отдыха), сутки через двое; форма выдается.

– Зимой будешь стоять в мини-юбке, замёрзнешь, отморозишь бебехи...

– А я под колготки гамаши надену, с начёсом...

– Да кому ты с начёсами нужна, им подавай голые коленки...

– Ха-ха-ха!

Это были красивые, циничные от пережитых бед женщины – с горьким выражением глаз, с морщинками у губ. В них была особенная уверенность, какая бывает у людей, рассчитывающих только на себя...

Солнце светило высоко, ярко, пуста была дорога (праздник), только по просёлочной колее трясся в одноколке мужик – везла его белая лошадка, да рыжая хромая собачонка прибилась ко мне (может быть, ждала подаяния).

Мне было грустно от дум, и солнечно – так высоко и славно светило солнце, так широко и щедро разбрасывало оно свои лучи по всей округе. Я словно возвратилась в юность – и всё вспоминалось мне мелкое, обрывочное, несущественное, будто это была чужая, а не моя жизнь. Как приземист и невысок сосновый лес, насаженный когда-то для укрепления песков, как спокройны вдали меловые горы, обещающие за своими спинами иную, романтическую даль... И ничуть не мешая этому возвышенно-грустному настроению, в кармане затрещал мобильный телефон.

Это звонил ты. Мне было так хорошо, будто ты был рядом, держал меня за руку, и нам не о чем было говорить – всё и так чувствовалось, понималось... Густой звук твоего голоса поил моё сердце любовью, и она, любовь, словно охватывала всю округу – через меня, в сердце

которой пела твоя мелодия. Боже мой, подумала я, да есть ли кого такая красота, как есть она у меня?!

...Последняя моя работа называлась «Москвичи». Я увидела эту картину в жизни – всю композицию – не прибавить, не убавить. На автобусной остановке, под железным козырьком сидели два кавказца. Один грузный, небритый, рубашка на животе в том месте, где она заправлялась в брюки, разошлась, так что видно было волосатое тело – смуглое, будто грязное. Вторым кавказец был среднего сложения, тоже небрежно одет – стоптанные туфли, «немнущиеся» брюки, дешевая ковбойка. Они грызли семечки – у ног уже была изрядная куча шелухи. Лица их не отражали никакой мысли – только тупую усталость и занятость механической работой лущения семечек. Видно было, что они недавно – вчера, допустим – пили и выпили много, глаза их были в мешках, складках.

Здесь же, на скамейке, на краешке сидел коренной москвич, человек, судя по всему, интеллигентной профессии – изможденное, издуманное лицо, очки; он был предпенсионного возраста и, похоже, сумасшедший – что-то бубнил себе под нос, шевелил бескровными губами. Он был бледен, слаб и хрупок. У его ног стояла хозяйственная сумка на колёсиках – старая, от перестроечных времен, когда возникали перебои с продуктами. А чуть поодаль – огромная урна, доверху набитая мусором – пакеты от чипсов, пивные банки, оберточная бумага, россыпь окурков...

Хромой голубь, «птица мира», пятась и остерегаясь, пытался подобраться к шелухе от семечек. Но кавказцы не обращали на него внимания. Они вообще ни о чем не думали. Просто сидели в центре скамейки и грызли семечки. А с краю, у мусорного бака, жался сумасшедший москвич. Возможно, подумала я тогда, мысленно усмехнувшись, передо мной – бывший человек искусства...

Но если забыть про то, что было, оставить то, что есть сегодня... Эту сизую дымчатую гладь озера, живописные фабричные развалины с двумя трубами, а вдали – чистый белый пляж (голуби над ним сегодня летали чайками, с морским «замахом»)...

Ну какой я художник? Смешно. Но должна же я быть тебе чем-то интересна.

Улеглась моя бывшая рана,
Пьяный бред не гложет душу мне...

Две женщины-фифочки, в розовом, обеим за сорок, в просторных одеждах, ребенок при них (чья-то внучка) пили на скамейке «Путинку». Пьяненькие, радостные. Но что-то неженское было в их лицах и сбивчивых разговорах.

Вода спокойная-спокойная, волны совсем нет. Только рябь легчайшая.

Вечером у гостиницы – живая музыка, звон бутылок, пьяное оживление. На открытой веранде гуляет местное купечество – поодаль дорогие автомобили, пузатые иномарки.

«Владимирский централ, этапом из Твери...»

«Детство, детство, ты куда ушло...»

«Как упоительны в России вечера...»

Сжатая в песне история духовной жизни «масс».

На веранде гуляли, а внизу на скамейках молодежь созерцала действо. Огоньки сигарет, пивные бутылки.

А бомж на площадке перед верандой – припрысывал. Здорово у него получалось, с поворотами. Даже лучше, чем у тех, кто на веранде. Танцевал от души, со знанием дела. Во время медленных танцев он руками изображал партнёршу.

Местный бомонд – коротко, почти под ноль стриженные деловые женщины. Видно, что им приходится ломить без всяких скидок на слабый пол. Много мужчин под тридцать с пере-

битыми носами – молодость прошла в рэкте, на «стрелках», в битвах первоначального накопления. Много пива, хмельного веселья. Музыкант даёт петуха – каждый вечер (кроме понедельника), он напрягает свой молодой (сам немолод), с красивым тембром голос.

Почти никто из них не жил так, как хотел. А я?

Деловые тётки танцевали с сумками под мышкой, а бомж свою клетчатую сумку («дом») отставил в сторону. Бомжу нечего терять... Уже...

И общая безнадёжность жизни... Почему-то.

Депрессивная грусть. «Ямщик, не гони лошадей...» Страшный, если вдуматься, романс.

Мужчина-шахматист меняет газеты на стенде возле своего дома. «За правое дело» – орган КПРФ, «Совроссию», «Правду»...

Как же быстро меняется моё настроение! Ещё вчера я была бодра, вдохновенна, а нынче – робка, пуглива, задумчива.

Почему бы тебе не быть рядом со мной? Тебе, такому красивому, родному, всёпонимающему, нежному? Мужественная нежность. Раньше мне казалось главным рассказать о том, как я люблю тебя. Теперь я поняла: важнее другое – рассказать о том, какой большой, радостно-верной, нежно-мужественной может быть любовь мужчины. Твоя любовь.

Всё пройдет. Не будет ни нас, ни этих ветреных мучительных дней, ни-че-го. Будет только любовь. Свет, сотканный из частичек наших далёких душ.

Как непригляден, сучковат и скучен мелкий сосняк – с тонкими стволами деревьев, зарослями, кустарниками. И как красивы вековые сосны – гордые деревья, чуть покачивающиеся кронами-«полубоксами», жарко-светло-коричневые, с толстой, потрескавшейся внизу корой. Среди таких деревьев чувствуешь себя особенно красиво, свободно...

Медленно-медленно покачиваются в вышине огромные кроны. Какая мощь, сила, и, кажется, что она питает землю, воздух, меня, всю округу. Я набрасываю этюд, не думая о технике, о качестве – у меня все получится, натура сама всё скажет.

Но неужели пройдёт и это, и постареют сосны, и мы постареем, и не будет у нас этой красоты?!

У нас не могло быть обидых детей (впрочем, наши дети и так были обидами), общей посуды, мебели, дома... Ничего общего. Кроме вот этих воспоминаний, и вот этого отражения – муж и жена, обнаженные, перед зеркалом.

Какой нормальный муж отпустит свою, горячо любимую жену, на свободу, поцеловав прежде – крест-накрест – её в макушку?

«Поезжай», – глаза твои были грустны.

Словно остатки древней цивилизации сразу за стадионом возвышались полуразрушенные арочные ворота.

Футбол: «Веттехника» против «Мюкьявюса» (название компьютерного магазина). Команды – мужики, смешанные со школьниками.

Если бы я была мужчиной, я бы обязательно стала реставратором и восстанавливала бы древние храмы, терема... Мне кажется, что это одна из самых благородных (из ненужных человечеству) профессий.

По лесам я бы взбиралась в самый купол храма и по сантиметру, очень аккуратно открывала древние фрески. («Женя, – звал на лесах друга реставратор, – давай передвинем за окно...»).

Пахло извёсткой, дождём, тихие женщины выходили из кованых дверей ларца-дворца, на часах – 17.00, конец рабочего дня, а эти бородатые мужики в зелёной спецодежде подправляют лепнину, работают...

Реставратор работает на вечность. Я бы тоже хотела быть сопричастной вечности, нет, не жить вечно, Боже упаси, в этом страшном мире, а принадлежать вечности, которая не боится времени.

Я несла хрустальную люстру «Катерину» в чистых подвесках которой так живо и радостно играл, преломлялся свет; а женщина-бомж тоже была занята «хрусталём» – выбирала из мусорного контейнера пустые бутылки. Это было именно бомжевание, а не рвущая сердце «подработка» к пенсии – благообразную бабушку, которая, стараясь быть незаметной, собирала бутылки на стадионе во время игры «Веттехника» против «Мючквяюса», я видела вчера.

Устремлено шагаю на рынок купить яблок – время уже двигалось к трём, как вдруг мысли мои прервал коричнево-копченого цвета старик – в заношенном пиджаке, грязных спортивных штанах «цыганского» пошива. Он, прислонившись к ограждению, что-то говорил мне.

Я подошла поближе.

– Слушаю.

– Подайте, говорю, пенсионеру на хлеб, – старик обнажил беззубые дёсна.

Ясно было, что это алкаш. Но человек просит... Полезла в сумку за кошельком. Ободрённый моей уступчивостью, старик вдруг со всей силы хватил деревянной палкой о металлическое ограждение.

– Спокойно! Не надо паники! – сварливо заметила я.

– Да, спокойно! – запричитал нищий, – попробуй, проживи на такие деньги! У меня обеих ног нету!

Я торопливо сунула ему в ладонь мелочь (он сразу же занялся подсчётом) и поспешила прочь, размышляя, что означала фраза «нету ног»? Может быть, ревматизм? Артроз? Ноги у старика были, кажется, всё-таки свои, а не протезы.

Спустя несколько минут я возвращалась той же дорогой – его уже и след простыл.

Номер был дешёв, даже для этих мест. «Потому что без телевизора», – извиняющимся голосом заметила девушка Рита у стойки регистрации. «Это даже хорошо. За отсутствие телевизора в номере надо доплачивать», – утешила я её.

Свидание с телевизором проходило на завтрак и в обед, в кафе на втором этаже, куда я заходила перекусить. Тут я и увидела на экране артиста З., толкующего юнцам, что «в начале было слово», и читающего с актёрскими завываниями ужасные, совершенно графоманские стихи поэта Б-го (кстати, ни один актёр на моей памяти не прочёл путём ни одного стихотворения).

Я помню, как встретила З. в артистическом кафе в Челябинске, он сидел один. Меня поразило его мертвенное лицо (как раз недавно он сыграл роль ведьмака в нашумевшем фильме), а ведь начинал с идеалистов-революционеров!.. Это был мёртвый человек, живой труп, серо-зелёное лицо его с ужимками фата было ужасно, как маска ада. Кажется, минут через пять я ушла – не смогла быть рядом.

Неужели это всё – ради славы?!

«Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом». Эту картину, я, конечно, никогда не напишу. Не хватит мастерства, дерзости. И вдохновения.

С детства у меня было две страсти – любовь и рисование. Впрочем, тогда я и не подозревала, что это – страсть. Это был основной способ моей жизни.

Выгоревшие до серой серебрянности сухостойные стволы деревьев – жутко-печальное зрелище. Преподавательница по античному искусству, такая же сухая, с плохо покрашенной сединой, сказала мне как-то в минуту раздражения: «Вы будете жить в деревне, у вас будет муж, тракторист-пьяница, дети, и вы забудете свои мечты о «высоком».

Меня это возмутило и смутило: нет, перспективы сельской жизни меня как раз не пугали, я относилась к ним вполне спокойно, но я не могла забыть свою мечту. Даже если рядом будет муж – тракторист-пьяница.

И вот она, нежность...

В нас всё обнажено, но небольшое зеркало в старинной раме, потемневшее, показывает нас целомудренно – только чуть ниже ключиц, по грудь.

У тебя – голова римлянина. Полководца. Воина. Но об этом я вспоминаю сейчас. А тогда я думала о том, что в мире много красоты, но она открывается через любовь, через человека.

Зеркало отражает страдание, любовь и нежность. В наших глазах.

Способ жизни – любовь.

Я хотела бы нарисовать эту картину о счастливой любви, но шли годы, и я поняла, что не бывает ничего постоянного, в том числе и счастья. Что за каждым жизненным поворотом нас ожидают испытания. Боже мой, какая это мучительная штука – жизнь!..

В городе было много уличных котов. Просто нашествие какое-то. Но это днём. А вечерами, в центре, гремющий музыкой монстр – развлекательный комплекс «Вулкан». Девочки-мотыльки выются возле иномарок, ищут своё счастье. Молодость исчезает, уходит, улетает...

Днём я слушала на рынке разговоры торговков.

– Ой, ну я сегодня такая счастливая!

– Правильно, вчера уехала от нас на «Ауди».

– Да вы что, это мой друг просто, – говорит, оправдываясь, – я его три года знаю...

– Ага, чего ж не радоваться: три года уже на «Ауди» катаешься... А тут и сопливого полюбишь...

Каждый день я отправлялась на озеро, где купалась, плавала, а в первый день – он выдался очень жарким – это было воскресенье, я залезла в воду в одних трусах, потому что вышла просто прогуляться и не взяла купальника; вода была удивительно ласковая, я – блаженствовала, и вдруг я увидела, что к берегу приближается парочка. Они долго целовались на обрыве; я отплыла подальше, решив, что, в конце концов, не сидеть же мне тут до вечера, попрошу парня отвернуться, пока буду выходить из воды. (Этого не потребовалась, парочка, намиловавшись, ушла).

В местной библиотеке я увидела такую страшно-загорелую женщину с сильно подведёнными блестящими розовыми тенями глазами, что невольно хихикнула. Но она, молодец, эту мою бестактность не отнесла на свой счет.

В библиотеке двое рабочих тянули в здании (уж который день!) противопожарную сигнализацию. Это были молодые мужчины, лет двадцати пяти, один более нервный, самоуверенный, некрасивый на лицо; другой – покладистый, добрый, стесняющийся своего грубого товарища (первый в минуты производственных затруднений разговаривал исключительно матом).

Они наметили на потолке линию проводки. Нервный начал сверлить дрелью дырки. Первая же попытка закончилась неудачей.

– Арматура, – обескуражено заметил он.

Они отступили сантиметров на двадцать, разметили потолок, и опять принялись за дело. Первая дырка пошла на «ура». При бурении второй процесс забуксовал.

– Арматура, – забубнил первый и начал ругаться матом.

Это, наверное, действительно была арматура, и не могли же рабочие её «прозреть», но почему-то производственная неудача рассмешила женское общество библиотеки, особенно двух молодых девчонок – заведующих ксероксом и несколькими компьютерами. Они начали хихикать, улыбаться.

– Весь потолок издырявили, испортили, – с хозяйским сожалением заметил покладистый.

– Ничего, им всё равно белить, – жёстко заметил нервный, и они сделали ещё одну разметку, так, что за компьютерами уже невозможно было сидеть. Посетителей попросили выйти, погулять часик.

Я надеялась, что бурение потолка осуществится гораздо быстрее, и по коридору прошла в тупичок здания, где стояли два старых, обтёрханных креслица. Рядом было нечто вроде кладовки, где аккуратно сложенные лежали совершенно ветхие книги советского времени – по-видимому, они дожидались списания. Из кладовки я прихватила с собой две книжки – толстый роман и сборник милицейских рассказов.

Вечер того же дня я посвятила роману; это было захватывающее чтение, жаль, что финальные страницы не сохранились; впрочем, о них можно было догадаться по смыслу, по логике развития событий.

Производственный роман брежневской эпохи рассказывал о мощной стройке – возведении энергокомплекса в Сибири, о возникновении в связи с этим нравственного конфликта в среде высших должностных лиц – между главным инженером стройки Морозом и его отчимом; повествовал о симпатичной, созданной для любви девушке Жанне, которая двадцати лет от роду уехала из Сочи в Краснокаменск, о принципиальном журналисте Грачёве, о мятущемся и хлипком писателе Олеге Свешникове и о двуличном молодом учёном Леоне Колесове.

Это был, конечно, роман-ремесло, написанный в русле «русской партийности», но герои были, в общем, симпатичными, язык – простым, сюжет – держал. А Морозу, принципиальному молодому начальнику, в конце романа достались не только лавры справедливого руководителя и честного инженера, но и любовь утонченной, играющей на фортепиано Грига девушки Жанны. Всё, как положено победителям – руно и женщины.

На следующей день я принуждённо смотрела в кафе очередную «Фабрику звёзд» по телевизору, и комментатор восторженно рассказывала, каков был конкурс, как съехались сюда таланты со всех страны и ближнего зарубежья... А потом воспитатель убеждал таланты: «Ребята, давайте договоримся: мы будем убирать комнаты и зал, где репетируем. Это нужно для нас. Сегодня кто-то из вас должен вымыть полы...»

Гигантская стройка в Сибири, куда устремилась девушка Жанна, и мытьё полов в пансионате – какова разница масштабов! Неужто наши отцы за нас всё построили?!

На улице я встретила молодого парня, с которым мы стояли рядом в храме – он был одет так же – в чёрную рубашку с серебряной ниткой, чёрные брюки. Он тоже меня узнал – ещё бы, четыре часа рядом простоять!.. Но мы не поздоровались – неудобно как-то... А на следующий день я встретила на улице пожилого мужчину. Он вёл велосипед. Мужчина в храме со знанием дела подавал передо мной записки и тоже простоял всю службу. Я хотела сказать ему: «С праздником!» (Так светло и празднично было у меня в тот день на душе!) Но удержалась. С трудом, правда.

Странно, стоишь, служба длинная, устаешь (а как же старушки? они-то основные молещницы!), чувствуешь свою греховность, ничтожность, ну и вообще, если большая часть жизни прошла наперекосяк, что, ликовать что ли, будешь?! И вдруг на следующий день – так светло, тихо, радостно, спокойно на сердце! Всё отходит в сторону. Далеко-далеко...

«Они сошлись выужной, серебристой, многоснежной зимой...» Так я иногда думаю о нас – в третьем лице. Брак без общих детей, соединённый лишь некой общностью интересов, духовных склонностей, всегда казался моей маме греховным, ненормальным. Так между нами пошла трещина. И сейчас я хожу, думаю об этом. Горький запах тополей. Дымно.

К себе и от себя. Эти мои бесконечные, мучительные колебания. Стоит мне оказаться одной, вырваться из притяжения твоей любви, как мне начинает казаться – мама права,

права... Мы неправильно, искривлено живём, а когда пытаемся быть «как все», получается ещё жальче, ещё ненормальней. Часто я представляю ещё одну свою не нарисованную работу – «Огонь». В жарком и веселом костре любви быстро сгорят наши жизни. Ярko, красиво и бесплодно. До головёшек.

Но стоит нам приблизиться друг к другу, как всё благоразумное и здоровое забывается. И мы летим... В пропасть? В горние выси?

В парке установлен простой, но весьма основательный памятник Акимy Мальцеву – купцу, который и положил начало городу. Это был благообразно-осанистый сосредоточенный мужчина лет 45, в сапогах, поддевке, с шейным платком, с кудрявящейся бородой, с волосами, расчесанными на средний пробор. В руках он держал царскую грамотку, разрешающую ему закладывать город. И надо сказать, устроил он тут всё с толком, компактно – заводы, фабрики, школу, больницу... Всё рядом.

На вокзале у киоска женщина хвалилась и в то же время нецензурно ругала своего сына, который, отучившись на фельдшера, собрался поступать дальше, в мединститут. «Ой-ой!» – поддакивала киоскерша.

На чайнике («в больницу удобно») было написано: Орел, улица Транспортная, дом 20.

– Китайский? – спросила я.

– А какой же, – вздохнула полнотелая продавщица.

– А написано – Орёл, – с надеждой заметила я.

– Ой, ну мы-то знаем, что продаём, а написать можно что угодно.

В парикмахерской в ожидании мастера я рассматривала фотографии – рядом была фото-студия. Местные красавицы (красавцев, увы, не было), снимок Жириновского на фоне строительных руин. Фото поп-знаменитостей, посещавших город. А вот и полосатый кот, который напряженно смотрит в аквариум – охотник!.. Но самое запоминающее фото – контрактник в камуфляже, в БТР или в военной машине (Чечня), мирно спит, а на руках у него маленький собачёнок, грустные умные глаза, чёрные уши... Мне подумалось: зачем же тогда искусство, если простая фотография может сказать больше, чем самая думанная-надуманная картина?!

Зашла в магазин «Товары для дома», в центре стоял лоток с разноцветными бельевыми веревками (ещё всё было хорошо!). И вдруг мелькнула мысль – трезво-унылая, деловито-отчаянная: «Удавиться, что ли?»

Жизнь наполнена таким страданием (и моим личным – тоже), которое я никогда не отважусь описать. В жизни, конечно, и счастье было, и красота. Но если бы мне сейчас сказали: хочешь прожить ещё одну жизнь? (Подразумевается, что более счастливую). Я бы отказалась. Есть, конечно, люди и несчастней меня. Но страдания в моей жизни было много, очень много.

Но кто из окружающих меня, близких мне людей, не страдает? Кто счастлив? Кто не устал безмерно от жизни? Не могу вспомнить.

Потом я бежала, побросав кое-как вещи за пять минут в сумку (как ни странно, ничего не забыла), бежала из этого города, и таксист уловил мою каменную тревогу, жал на газ, а озеро было в тумане, в белой дымке, зеркально-чистое, в сумерках холодного вечера, и я против воли запоминала этот равнодушный и красивый вечер.

Потом мы ехали в тёмном автобусе по тёмному, невысокому страшному лесу, дорога была извилистая, петлистая, всё время возникали крутые повороты, на указателях в свете мигающих фар всплывали названия селений, все они были зловещими, недобрыми: Кощеево, Мухреево, Веригино, Дом Инвалидов... Сердце моё набухало, билось болезненными толчками, а то вдруг семенило, убыстрялось, как испорченные механические часы перед тем, как им

совсем встать... «Удавиться, что ли...» Недолговечность счастья – вот что самое обидное было во всей этой истории, и я думала: зачем жить?! Ну, проживу я ещё год, пять или десять, и всё будет одно и то же: бесконечная пустыня страдания с крошечными островками радости... И чем больше будет страдания, тем в меньших мелочах я буду искать счастье. Неужто для этого мне надо было родиться на свет?!

Во Владимире (город встретил белыми соборами, воздушно светившими в этой крошечной ночи) мы остановились у магазина «Ритуальные услуги» (почему бы уж сразу не у морга, – думала я, беззвучно плача).

Когда я приехала домой, когда случайно посмотрела на себя в зеркало в прихожей, я удивилась, увидев там своё лицо – измученное, жалко-похудевшее, с запавшими глазами. «Жертва насилия».

...Моя мама выздоровела и жила ещё долго и счастливо. Это была моя мечта-грёза, пока я ехала в тёмном автобусе по тёмному, невысокому страшному лесу. Но всё оказалось определённой и хуже – инсульт, похороны, поминки. Я думаю, что умирать не страшно, если ты правильно прожил жизнь. Но кто мне теперь скажет: правильно ли я живу?! Сердце кажется утыканным иголками, и оно болезненно и медленно трепещет в груди.

Я шла, это было дождливое тёплое утро, сентябрь, первые листья на тротуаре, и осенние цветы у торговки в целлофановых плащах – эта пестрота цвета, много оранжевого, подмосковные георгины (я люблю именно георгины, потому что розы или привозные хризантемы есть всегда, а наши георгины – только ранней осенью, до заморозков). Я шла, а душа моя ужасалась – неужели и эта, немногая радость – я шла к тебе – будет у меня когда-нибудь отнята, и круг страдания будет сжиматься, душить моё сердце, пока не померкнет свет, и кто-то Великий скажет мне, наконец, зачем он меня так мучил, зачем всё это... зачем...

Наследник

Мы ждали междугороднего автобуса, а он никак не мог двинуться в путь – ноги водителей (одна пара в кроссовках, другая – в коричневых туфлях из кожзаменителя) торчали из-под старого красного «Икаруса», рядом валялись мазутные запчасти. Видно, поломка была серьезной – время от времени ноги судорожно дёргались, а из-под чрева машины то и дело доносились расстроенные голоса ремонтников.

И тут подкатила роскошная серебристая иномарка. «Есть кто на Липецк?» – водитель не жадничал, брал на двадцатку дешевле автобусной цены, и пассажиры сразу нашлись: молодой парень в красной бейсболке, высокий хмурый мужчина средних лет, щедро раскрашенный наколками, и я – в Липецке мне нужно было успеть к поезду. «Сейчас я маму высажу, возле музыкальной школы, и комфортно разместимся», – разъяснял хозяин машины, открывая для нас задние двери. На переднем сиденье я увидела бабушку – типичную сельскую старушку, в платочке в повязочку, с изработанным крестьянским лицом.

Машина мягко взяла с места, я в последний раз махнула своей родне (моих попутчиков никто не провожал), а вскоре мы распрощались и со старушкой – заботливый сын посадил её на автобусной остановке, видимо, ближайшей к дому, пообещал через день приехать, но, несмотря на столь скорое свидание, он, после некоторой заминки, вышел из машины, бережно обнял мать и поцеловал её в высушенное лицо. Парень в красной бейсболке сел рядом с водителем, мы с «зэком» (так я называла про себя угрюмого малого в наколках), царствовали сзади – вот уж, действительно, всё для блага человека – машина была просторной, сиденья удобными, мягкими, и вскоре осенние светлые пейзажи стали сменяться за окном.

– Вы не переживайте, через два часа будем на месте, – объяснял хозяин иномарки (я увидела только его рыжеватый затылок-ежик), – мне, знаете ли, в детский сад на родительское собрание надо к пяти успеть. Я, пожалуй, пристегнусь, – он перекинул через плечо ремень безопасности, – не потому, что боюсь, а просто так удобней – машина скоростная, и когда «впривязку», лучше её чувствуешь, ну, вроде как сливаешься. Да и в случае чего... У меня один знакомый въезжал в посёлок, а там малыш выскочил на дорогу вслед за мячиком. КамАЗ рядом шел – прямо на мальчишку. Приятель мой только-только «Мерседес» себе купил. Ну, он свою машину – под КамАЗ. Говорил потом: мне «Мерседес» и не жалко совсем, главное, парнишка живой остался!

Парень в бейсболке ему поддакнул и тоже пристегнулся. Он оказался водителем-дальнобойщиком и они сразу же стали разговаривать о машинах: какие нынче цены да где лучше купить, почему иномарки надежнее наших и как гаишники зарабатывают деньги на дорогах. «Зэк» в мужском разговоре не участвовал, сосредоточенно и угрюмо смотрел водителю в затылок. Возможно, этому способствовало музыкальное сопровождение: чтобы пассажиры не скучали, хозяин поставил для нас блатные песни – о нелегкой тюремной доле, тоске, «сроке», о возвращении домой, верных друзьях в лагере, о незавидной судьбе возлюбленной-изменщицы, подруге-финке и проч. Репертуар, кажется, не вполне нравился моему соседу – желваки у него то и дело ходили по щеке. Казалось, будь его воля, он бы достал из своей спортивной сумки монтировку и с удовольствием опустил её на голову своего социального антагониста. Был «зэк» примерно одного возраста с хозяином серебряного чуда, был, даже, наверное, сильнее физически и выше ростом, был не дурак (глаза – умные, голодные, настороженные), но вот – один летит по жизни в иномарке, другой – рисует уголовную романтику на руках... Впрочем, водитель не хвастался машиной – так, гордился чуть-чуть, и блатные песни у него были умеренные – без мата.

Мы летели под 140 километров в час (со своего сиденья мне был хорошо виден спидометр), сбрасывая скорость только перед милицейскими постами. Тогда казалось, что машина стоит на месте – скорость на хорошей дороге в ней не чувствовалась совершенно. Водитель, похоже, нашел в парне в красной бейсболке идеального собеседника – от обсуждения иномарок они перешли к разговору об иностранцах. Дальнобойщик кое-что повидал в жизни, и потому со знанием дела поведал о пьянстве шведов и финнов, о тупости прибалтов, об обжорстве немцев (особенно на халяву) и о страхе безработицы в западном мире. Хозяин иномарки поделился собственными впечатлениями – о Японии и японцах: что они едят, пьют и как это влияет на их мужские способности («Прошу прощения у дамы за такие подробности», – добродушно повернул он ко мне голову, на секунду оторвавшись от дороги). Было также рассказано, как японцы моются в бочке с трухой («это у них такая баня») и какая там скученная жизнь, похожая на муравьиное мельтешение. «Зэк» по-прежнему молчал, не пытаясь вступить в разговор, но слушал, кажется, внимательно – взгляд у него был тяжелый-тяжелый.

Тут у хозяина сработал мобильный телефон. «Еду-еду, – отвечал он. – Да, на собрание. Трех попутчиков взял. Картошку не купил, договорился на завтра», – на этом разговор и закончился.

«Мишка мой, – с гордостью пояснил он нам, – очень картошку любит. Воспитательница в детском саду говорит: он у вас ест только картошку и мясо. Мужик! Я вот хочу ведер 30 купить – на зиму хватит». Словоохотливый водитель рассказал нам, что убедил жену бросить школу (чего там сидеть за копейки!), что он ее устроил библиотекарем в санаторий – и зарплата пять тысяч, и работа не пыльная. Кроме машины он купил этим летом участок земли («Дон рядом, значит, часть берега – моя! На лодке можно кататься, купаться...»). И вообще, жизнь вроде идет неплохо, «была бы голова, деньги всегда можно заработать!..» При этих словах скептически-презрительная улыбка тронула губы моего многомудрого соседа.

Мы уже подъезжали к Липецку, когда вдруг попали в пробку. Водитель замолчал, и видно было, что он нервничает, поглядывает на часы – время детсадовского собрания неумолимо приближалось. Но вот в пригороде вышел парень в бейсболке, ещё через квартал попросил «тормознуть» мрачный «зэк». («Бывай, шеф, – снисходительно сказал он водителю, расплачиваясь новенькими купюрами, – береги тачку!»). Стрелки часов показывали без пяти пять.

– Далеко ли ваш детский сад? – спросила я, чувствуя напряжение хозяина машины.

Оказалось, что рядом, на соседней улице.

– Пожалуй, я могу подождать вас в машине, пока вы сходите на собрание. Время до поезда у меня есть.

– Правда? – он сразу оживился. И поспешно, виновато добавил: – Вы уж извините, что так вышло. Просто первое собрание, надо обязательно быть!

Мы заехали во дворы, припарковались рядом со старенькими «Жигулями».

– Я быстро! – заверил меня хозяин, и рысью рванул в облупленные двери невзрачного двухэтажного здания.

Яркое солнце зацепилось за шиферную крышу детского сада – лето доживало свои последние дни. А когда-то и жизнь подарит нам свои последние лучи, – расфилософствовалась я. Мимо прошли два парня с открытыми бутылками пива, женщина складывала в просторную корзину высохшее бельё... Странно было думать, что в нынешней несправедливо устроенной жизни (а когда она была справедливой?!), есть свои честно-счастливые люди, как вот этот оборотистый мужик.

Из старого, если не сказать древнего, здания детского сада то и дело выходили женщины, ведя за руку мальчика или девочку. Все детишки были в очках, и я уже догадывалась, что у Мишки, наверное, тоже нелады со зрением. Впечатления хлопотного дня, дорога, долгое ожидание (уже прошло, наверное, не меньше часа), наконец, сморили меня, и я уже стала задремывать, когда вдруг услышала наигранно-бодрый голос хозяина машины: «А вот и мы!»

...И когда я увидела этого худенького, рыженького, маленького мальчика в очках, испуганного, не смеющего поднять глаз, острая волна жалости подкатила у меня к горлу.

«Привет!» – сказала я ему, стараясь не показать своего волнения. «Привет», – робко, едва слышно вымолвил он, и больше не проронил не слова, забившись в уголок роскошной машины.

«Миш, мы сейчас тётю отвезем на вокзал, и домой», – почему-то виновато, будто оправдываясь перед мальчиком, сказал отец.

Мы выехали на оживлённую улицу, медленно стали двигаться среди машин. «Видите, – смущенно пояснил хозяин, – у Мишки со зрением проблемы. Но ничего, это специальный детский сад (знаете, сколько трудов мне стоило его сюда устроить?!), так что к школе, обещают, всё можно выправить».

Мишка, тем временем, на ходу ухитрился открыть дверь.

– Осторожно! – воскликнула я.

Отец аккуратно и бережно сбавил ход, остановил машину.

– Миш, ну ты что? – ласково начал он увещевать сына. Можно же вывалиться, покалечиться! – и он заблокировал дверь.

Дальше мы двигались в напряженном молчании. Какую семейную тайну нес в себе этот слабый, застенчивый, беззащитный мальчик?! Я чувствовала, что невольно стала свидетельницей главной боли хозяина дорогой машины и владельца участка земли на берегу реки Дон.

Наконец мы подъехали к вокзалу. «До свиданья, Миша», – персонально попрощалась я с мальчиком. Он робко кивнул, потом поднял бледненькое худенькое личико.

Серебристая иномарка – чудо техники, триста лошадиных сил – лихо развернулась и вскоре скрылась из глаз. Мимо меня, гомоня и покрикивая, прошли увешанные юбками цыганки с босоногой ребятней. Дети были здоровы, чумазы, белозубы и, наверное, по-своему счастливы...

Христопевцы

Какие люди всё-таки живут в нашем краю! Гиганты мысли и действия. Взять Римму Крайневу. В советское время – бригадир звена свекловичниц, член КПСС. Призывала защищать завоевания социализма, бороться с рвачами и симулянтами. Теперь, конечно, на пенсии. Подрабатывает «читакой» – читает Псалтирь по усопшим. На церковнославянском, всё, как положено. Читает-читает, тут мобильный телефон звонит у неё в переднике. Она оторвётся, раздаст руководящие указания по хозяйству (сыну, внуку или невестке очередной – сын у неё без конца женится) и – дальше! «Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суeta всяк человек живой...» А потом всё-таки не выдержит, Псалтирь побоку, обличит по впечатлениям от последнего разговора бестолковую невестку (и ленивые они, и грязные, и алчные) и снова – за чтение.

Вообще, Римма любит о божественном потолковать, о Царствии Небесном и проч. Особенно с людьми дикими, невоцерковлёнными, для которых эти материи – лес дремучий. Коля мой вёз её на кладбище (она и там вызвалась читать, хотя и без неё были доки, но уже не отпихнёшь, раз связались – надо терпеть); она его просвещать, он: «Да, да», – поди, и не слушал путём, и тут она, в связи с Царствием Небесным, вспомнила о своём покойном супруге. И как погнала его крупным непристойным матом! Даже Коля, человек, скажем так, бывалый, опешил. Чуть в столбик придорожный не врезался. Потому как самым корректным воспоминанием было «Г... н штопаный».

Оно, если честно, и не поймешь: как в наше время правильно, по-христиански, надо жить. Я вот Колю пилила: и такой ты, и сякой (много тут можно о Коле рассказать, но не о нём речь), вон, погляди, на своего одноклассника Сеню Будкина – каждое воскресенье он в церковь идёт с женой. Благочестивого поведения человек. А мне Коля потом говорит: я, может, и сволочь последняя, но я – мать свою дома докормил, а Сеня твой идеальный – в дом престарелых сдал!

Ну да, Коля докормил! В основном-то несчастную старушку-свекровь я обихаживала. Бедная раба Божия Аглаида сама намучилась и нам прикурить дала. Трудно помирала. Хотя и пожила, опять же. За восемьдесят. Мне Лиза Дамкина внушает: «Вот мы их, старых, жалеем. А кто нас пожалеет? Думаешь, мы столько протянем?! Уже сейчас здоровья никакого». Это точно. И вот, свекровь померла, лежит на кровати, надо что-то делать, а у меня – сил никаких. Так я за последние полгода вымоталась.

И стала я плакать. Потому что, куда ни кинусь – одна, как перст. (Коля – это ж декорация супружества, видимость.) Плачу, вою, слёзы ручьём. Во-первых, страшно – что ни говори, а смерть рядом; во-вторых, устала я жутко; в-третьих, себя жалко и жизнь свою, в общем, пропашую; в-четвёртых, как подумала я, что мне предстоит... Похороны, поминки, девять дней, сорок дней, родственники, обряды, огород сажать надо и на работе ждут. И это ещё не весь список! Я, грешница, в тот момент даже покойнице позавидовала. Лежишь себе, никаких хлопот. Все жалеют и добром вспоминают.

Коля в те дни куда-то забурился, запил – он человек тонкой душевной организации, сказал, что не может смотреть на мучения матери. У него, мол, сердце разрывается. Нежный сын! И оставил меня наедине с пеленками, тазиками, памперсами и проч. В общем, одна я, одна.

Ну, повыла я, поплакала и стала успокаиваться. Усопшая-то на кровати лежит. Стала звонить Сане (муж двоюродной сестры, из родни наиболее адекватный). «Сань, говорю, приедь хоть ты, помоги!» И он был выходной, быстро примчал. Между прочим, на новом «Форде». Питерской сборки. Только что купил. Я его поздравила от души. Он даже смутился – у меня горе такое, а он – на новой машине. Вместе с ним мы все присутственные места объехали, всё, что нужно купили. Саня и с читакой, женщиной во всех отношениях положительной, хорошо

знаком. Завернули к ней. А сестра говорит: «Ой, а Марию увезли, она сегодня у прихожанки знакомой читает!» Что делать? Пришлось ехать за Риммой.

Я вечером еле-еле ногами передвигаю, почти падаю (хорошо, хоть Коля объявился, вышел из тени; поди-подай – и то от него польза!), ночь перед этим не спала, давление – 200 на 110. (Мне врач, несмотря на показания тонометра, говорит: что-то вы слишком хорошо выглядите для больной. Я прямо разозлилась: что ж мне, морду навозом вымазать, что ли?!). В общем, я – никакая, без сил, а Римме – хоть бы хны. Покойники для неё – народ привычный. И, опять же, на новой работе она окружена благоговением и трепетом. Деньги, харчи первые. Это не с невесткой дома собачиться! На лицо Римма с тех пор, как подрядилась по домам читать, стала гладкой, морщины разошлись, вид довольный. В общем, встретил человек свой призвание. И она мне говорит: «Буду читать всю ночь». Ну, думаю, нет, это мы тут с тобой сдуреем до утра, а завтра ещё день какой! Кое-как я её выпихнула в первом часу, Коля отвёз.

Но это потом. А вечером покойная в гробу лежит, Римма Псалтирь читает, перемежая церковнославянским с просторечным русским (обличение невестки), а у меня межгород звонит. У Коли есть братец единокровный, Родя, и я его давно предупреждала: мать плохая! Намекала: не тяни резину, если хочешь живой увидеть. Ну, они ж стоумовые, только себя слушают, «внутренний голос». Мать померла, я этого Родю начинаю искать – никакого отклика, сотовый недоступен. И тут супруга его звонит. Я ей про мать, она – в слёзы. Во, думаю, как свекровь жалко, что значит невестка ласковая (не то, что я!), ишь, как убивается! А она мне: у меня страшное горе, перезвони срочно!

Набираю номер. Оказывается (и это впрямь – сенсация!), горе состоит в том, что Родя её на днях бросил, ушел из семьи. Все концы обрубил. Нашел свою юношескую вдовую любовь и соединился с ней в блудной связи. Сказал – это у меня навеки, наконец-то я счастлив. Невестка кричит: звони, стыди, убеждай эту сволочь Родю, чтобы он ко мне вернулся! Я говорю: подожди, тут же похороны, то, сё... А она мне душу изливает в подробностях (а почему бы и нет – за мой-то счёт!). Еле-еле я от неё отбилась.

Тут и Родя на связь выходит. Я ему про мать. Он: да-да... Говорит: ты уже знаешь, мегера моя рассказала? И тоже – о личном. Но – больше со знаком плюс («ты мою Кирочку сразу полюбишь...»). Я говорю: «Родя, что ты думаешь? Похороны завтра. Приедешь или нет?» А он: «А как я доберусь? Змеища арестовала машину, ключи от гаража забрала. А на перекладных – не успею. Мы уж с Кирочкой на девять дней приедем, тогда мамашу и помянем». И снова – про мегеру, про распри и про романтическое исполнение юношеской мечты.

Только я Римму вытолкала, невестка опять звонит – её обида распирает, надо с кем-то поделиться... В общем, и в эту ночь я не заснула, слушала их попеременно. Как с ума не сошла, сама до сих пор не пойму.

Свекровь решили хоронить в деревне, Саня, молодец, утром привез батюшку с дьячком, ну, Римма уже тут как тут. Отслужили панихидку, всё чин чинком, машину подогнали, надо покойницу выносить. Духовные лица отбыли, а Римма опять лезет Псалтирь читать: мол, так надо (у неё на всё свои правила). Да бросай ты, там могила ждёт, дождь находит, люди разойдутся, и что ж мы, ночью что ли, хоронить будем?! «Ну, тогда я тоже на кладбище поеду!» И – нырь в машину! Повёз её Коля, не будешь же у гроба ругаться. По дороге наслушался много интересного... А Римме что, новая деревня, свежие впечатления. И вроде при деле – «служебная командировка»!

Могилу копал профессионал, Арсюша Кирюшин (сын Мани Кирюшиной, которую собутельники убили по пьянке). У Мани был родной брат по прозвищу Конь – здоровый, белокурый мужик. И Арсюша – тоже под два метра ростом, волосы русые, нос прямой, глаза голубые. Истинный ариец. Живёт в шалашике без отопления (в сарае), поскольку хату, опять же, по пьянке сожгли – была у них там «малина». Арсюша живёт тем, что копает могилы – деревня вымирающая, каждую неделю кто-то на покой отходит. Было две тысячи человек, осталось

пятьсот; живут кто чем, преимущественно, растительным существованием. Ну и понятно, что Арсюша в ремесле поднаторел, достиг мастерства, «класса», он вроде как «бригадир», руководит командой более спитых и малосильных товарищей. Так что к могиле у нас претензий не было – сухая, в меру глубокая, аккуратная, опрятная, я бы даже сказала.

А уж хор местный – это вообще достопримечательность. Зря Римма лезла – тут её быстро оттерли. Певчие в деревне – главная самодеятельность. Бригада из девяти человек, дирижирует ансамблем бывшая учительница (она и Колю учила) Селиверстова. А главные голоса – Нюшка и Харитишка. Нюша – женщина симпатичная, в молодости красоты необыкновенной. А пела как?! В те времена, конечно, не псалмы, а «Я назову тебя зоренькой...», «Оренбургский пуховый платок», «Деревня моя, деревенька-колхозница...» и прочее, из лирического репертуара. Кадышева ей в подметки не годится. Была Нюша замужем за Лёней Цареградским. Мужчина видный, породистый, похож на Сергея Бондарчука. Гулял с Харитишкой (тоже симпатичная женщина, но другого типа – золотоволосая, бойкая). На этой почве затеялась между соперницами громкая распря – с битьём окон, обливанием помоями, публичными проклятиями.

Лёни давно нету (и Бондарчука тоже), и Харитишка мужа похоронила, и теперь они с Нюшей первые подруги и христопевцы. И так выдали на кладбище, что опять же, рабе Божией Аглае только позавидовать можно – какая там консерватория! С душой пели, со слезой. А голоса!.. Под такие псалмы земля, конечно, пухом будет. Слава Богу, и жизнь прошла путём, и померла на родных руках, и похоронили по высшему разряду.

Назад возвращались мы втроём: я, Коля и Римма (куда ж её деть!). Римма впереди сидит, проповедует Коле высокие материи, он поддакивает по привычке: «Да, да...» А я чего-то разволновалась от впечатлений дня, и про сон забыла. Тут этой жизни – пять минут (если вдуматься), а сколько всего в ней было! Помню, подвыпившая Маня Кирюшина учила в детстве меня и Райку (подружку) похабным частушкам:

Мой папаша дорогой,
Не ходи ты до другой,
У её сисичеки, как ниточки,
И пупочек вот такой!

При исполнении последней фразы следовало свернуть дулю. Но нету теперь ни Мани, ни брата её, Коня, ни многих других. Осталась одна дуля... За неё-то мы и держимся, дурочки... А что делать, если другого богатства не нажили?!

Обед в Совете Федерации

Сенатор Буркин был мужчиной ещё советского времени, и, видимо, не самым глупым из номенклатуры, если до сих пор сидел в сановном кресле. Муромова избегала встречаться с ним глазами – во взгляде его, весьма доброжелательном, всё же было нечто стеклянное. Потому Муромова якобы в смущении притупляла взор и смотрела на холеные сенаторские пальчики; весь он просвечивался, будто кукольный. Чуть поодаль сидел помощник – в пиджаке и галстуке; руки его подрагивали, когда он тасовал папки «Входящие» – «Исходящие».

Буркин рассказывал свой план спасения России. Муромова профессионально кивала, поощряя его к откровенности, диктофон был включен, и мысли её ушли далеко. Она думала о своей, зашедшей в тупик, жизни; и ей мнилось, что оттого и вся Москва, всё видимое ею пространство стало разрушаться. Сенатор говорил о НАТО, о ВТО, о Китае и геополитике, доверительно называя членов правительства «Мишка», «Валька», «Гришка», а Муромова с тоской вспоминала страшные обрубки деревьев на бульварах и обрубки ног и рук у молодых инвалидов, которые побирались в метро; растянутый через улицу транспарант с призывом «Съешь, сколько сможешь! Всего 8 долларов» и эти же слова, как заклинание, неслись из динамика ресторана, а рядом, в пешеходном переходе, стоял такой концентрированный запах мочи и бомжей, что Муромова старалась не вдыхать, когда ей нужно было здесь идти. И вообще, с недавнего времени, куда бы она не пошла, везде ей в глаза бросалась Москва униженная, с кричащими ужасом вывесками кинотеатров, с похотливой рекламой; она старалась притупить свой слух, чтобы укрыться от рева машин, сирен, сигнализации; обмануть обаяние, чтобы не чувствовать тошнотворного, сигаретно-пивного дыхания горожан – с ними она тряслась в автобусах, давилась в толкучках метро, толпилась на рынках... Она переставала любить людей, которые всё больше превращались в эластичную массу, в пластилиновых человечков, послушных воле цивилизации – не думать, не чувствовать, не хотеть. Это был грех – так видеть жизнь, но она ничего не могла поделать с собой. Муромова с отвращением думала, что и в ней скоро появятся «пластилиновые части» – но ни воли, ни силы, чтоб изменить устоявшуюся жизнь, у неё не было.

Буркин, наконец, закончил. В нём была горбачевская беглость речи и с тех ещё времен, наверное, сохранился перестроечный демократизм, понимание «маленьких нужд маленького человека».

– Я вам отмечу пропуск с запасом времени, пообедаете у нас, – в стеклянных глазах сенатора замерцал живой огонек.

Муромова про себя хмыкнула, а вслух вежливо сказала, что у нее нынче много дел и ей надо спешить.

Но когда она, насколько могла, любезно, попрощалась с сенатором и вышла, унося с собой план спасения России (который теперь надо доводить до ума – расшифровывать, «причесывать», дописывать человеческими словами и от которого – она почему-то была уверена – не будет никакого толка), её охватила такая тоска, что она решила: да, пожалуй, надо «заесть» тяжелые впечатления сегодняшнего трудового дня.

Действительно, в просторной столовой стояла совсем другая «аура», как сказали бы модные телеведущие. Муромова подивилась приветливости хозяйки зала, которая улыбнулась ей без всякой фальши и ласково пригласила к одной из стоек; поражала вежливость поваров, с полуслова угадывающих желания клиентов; а главное чудо – это очередь, быстродвигающаяся и легко оперирующая диковинными названиями блюд. Во всем поведении «здешних» чувствовались свобода, великодушие, щепетильная вежливость людей из другого «круга», общества. А между тем, столовая эта была для челяди – помощников, «слуг», аппаратчиков, пришлых,

вроде Муромовой. О том, что такое сенаторская столовая, где сновали проворные, ладные официантки, можно было лишь догадываться, но и здесь Муромова увидела отголоски коммунистического рая – в центре зала стояло несколько огромных чаш, почти тазиков, наполненных овощными салатами, которые обедающие брали совершенно бесплатно. И челядь важно подходила, раздумчиво накладывала экологически чистый продукт, полезную пищу с тщательно сбереженными витаминами, и всё это огромное – двухсот или трехсотголовое чудовище ело, жевало, улыбалось, кивало знакомым, желало приятного аппетита...

И вдруг Муромова вспомнила свою первую поездку, первую в жизни командировку в Ивановскую область, где уже три дня держали голодовку местные учителя. Это было в 1995-м году, осенью, в октябре, – услужливо подсказала память; она вспомнила, как ехала на попутном газике по расхлябанной грязной дороге, как кропил дождь и как у каждого деревенского дома она видела поленницу березовых дров; они ещё не успели потемнеть, и её пронзительно поразила белизна и этих дров, и берез за околицами безвестных, намокших под осенним ненастьем деревень; и ещё она вспомнила детский утренник в сельском клубе, где ребятишки, в сбереженной от старших братьев и сестер парадной форме советских времен читали стихи о величии России; увидела желтого цыплёнка на подоконнике в «живом уголке» одной из голодающих школ; цыплёнок, трогательно-пушистый, неспешно ходил и склевывал пшено... А жалко принаряженные к её приезду учительницы делились с Муромовой рецептами выживания – одна, например, рассказывала, что всё мучное она печет на воде и получается очень даже неплохо... Она вспомнила серьёзные, хмурые лица старшеклассников и директора школы, бывшего комсомольского работника, который горячо объяснял ей:

– Понимаете, я не могу голодать, я – один мужчина в школе, я – директор, я за всё отвечаю: за учеников, за учителей, за здание... Но вы не думайте, я их не осуждаю, наоборот, поддерживаю. У нас и минеральная вода есть, и «скорая» готова приехать...

А потом снова была дорога, грязь, печальные березы по обочинам; какие они были красивые в своей печали, словно жалующиеся, что никуда они отсюда не уйдут, не денутся, и участь их решенная – рано или поздно – на дрова...

Муромова смотрела на деловую челядь, важно шагающую с подносами к месту комфортного насыщения. Смотрела и думала: насколько счастливее она была тогда, на расхлябанной дороге, где навстречу их газику баба гнала хворостиной пьяного, черноусого мужика, а тот, с невероятным трудом выдергивал из грязи резиновые, похожие на бутылки, сапоги. В просвете расстегнутой фуфайки у мужика мелькнула десантная тельняшка... И ей вдруг показалось, что не только она, но и голодающие учителя, и баба с хворостиной, и трудно выходящий на светлую дорогу мужик в тельняшке, и цыплёнок, и берёзы, и всё-всё – тоже были, может быть, не понимая этого, по-настоящему счастливы тогда! Но в чём было это счастье? Почему его нет здесь, среди щедрых тазиков с едой, и никогда не будет? Неужели люди, которые здесь едят и пьют, рожают слова, бумаги и «планы спасения России», совсем этого не понимают, не чувствуют?!

...Муромова тихо плакала, слёзы её капали в остывший суп и растворялись в нём без следа...

Два гусара

– А давай споем эту: «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг...»

– «...Необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг...»

Поют. Здорово поют. Слаженно. Видно, что спеты давно. Голоса – чудесные. К нам в купе – дверь открыта – начинают заглядывать пассажиры.

– Мадам, надеюсь, вы не против высокого искусства? – это ко мне.

– Ну ЧТОБЫ...

– Сразу видно человека европейской культуры.

– Вы мне льстите.

– Ничуть. Располагайтесь поудобнее. Вина, виски, а может быть ликёра? Крем-брюле (он выговаривает «бруле», чуть в нос, пародируя французов).

– Нет, не беспокойтесь, ничего не нужно.

– Юра, к нам попала госпожа по имени «Нет». Не правда ли, вас зовут «Нет»?

– Правда.

– О, моё сердце, – он прижимает руку к груди, встает. – Позвольте представиться, Владимир Стогов, – сдвигает пятки, и его комнатные шлепанцы щелкают почти как строевые ботинки.

У Стогова карие глаза, яркие румяные щеки и пухлые губы, щегольские чёрные усики, сложение оперного певца (с животиком). Товарищ его, Юрий, напротив, худощав и поджар, и, улыбаясь, любит показывать свои прекрасные, сахарные зубы – лицо его хорошо сформировано, вылеплено природой. У Юрия высокий лоб, плавно переходящий в основательную лысину, мускулистые руки, длинные пальцы пианиста.

Товарищи пьют сорокоградусный бальзам на травах («о, этот напиток богов!»), тягучая коричневая жидкость понемногу разливается в стаканы, а после «полируется» минеральной водой. Пьют и поют. Романсы, французский шансон, ретро, патриотические песни и «композиции» на немецком языке. К нам в купе то и дело подсаживается народ. Непременное условие – участие в выпивке. («Заглянул сюда – не манкируй, брат!»)

Поклонники певческого искусства после одного-двух тостов ретируются.

– Юра, дорогой, ты видишь, как измелечал народ?!

Юра скорбной мимикой изображает согласие.

Один из гостей просит спеть гимн России. Стогов ласково ему отказывает: «Мы не прошли лицензирование». В дверях появляется длинноволосый, хиппообразного вида типаж, в руке у него целлофановый пакетик со снедью. Стёртое лицо, плавные движения. Похож на вошь. Говорит, вроде как заискивает.

– Ребята, хотите оладушек печёночных?

– Откуда дровишки, Бася? (Они знакомы друг с другом). Когда напёк?

– Взял с банкета.

– Кушай сам.

– Много взял, пропадут...

– Бася, иди с Богом. Мы этот лот снимаем.

Мне:

– Пришлось обидеть Басю. Ворованную пищу никогда не кушаем... А может быть, бальзамчику, госпожа «Нет»? Юра, прочти аннотацию!

Юра, закатив глаза долу, декламирует торжественным баритоном: «Три гран-при, 22 медали, холодильник и путёвка в Сибирь!»

Оба хохочут. Звонкий, заразительный смех. «Канapé, мадам?», – Володя протягивает печенюшку с крохотным кусочком колбасы. «Не правда ли, чудесный канapé? Примите, от всего сердца!»

Стогов доверительно рассказывает мне:

– Пошли мы напоследок в ресторан. Отметить командировку как положено. Сидим, выпиваем. А за соседним столиком – бобёр со страховым агентом (блондинкой).

– А как вы узнали, что она – страховой агент?

– Боже мой, мадам, вы поразительно наивны для своих лет! Она страшит его от главных мужских неудач! А между столиками ходит хлюпик, рядом с ним – мужичонка со скрипочкой. Бобёр подозвал хлюпика: «Спой!» Ну, тот и завёл. А голосишка слабенький, не тянет. Мы с Юрой не смогли стерпеть надругательства над искусством. Как грянули: «Дорогой длинною да ночью лунною...»

Он прерывает рассказ, и оба поют. Особенно жалостливо и дружно у них получается запев:

В даль родную новыми путями
Нам отныне ехать суждено,
Ехали на тройке с бубенцами
Да теперь проехали давно!..

Они поют со слезой, с чувством, как будто действительно жизнь их кончена. Даже страшно становится.

– Ну вот, мы допели, бобёр вскочил, схватился за сердце, стал кричать: «Ещё! Озолочу!..» А мы ему: извини, друг, за деньги не поём, только для души.

– А где вы так здорово петь научились?

– Я бы вам, мадам, рассказал про свои университеты, но это долго и скучно. Тем более, что наши дипломы – зрелище не для ваших чистых глаз... Правда, Боб?

Юра кивает.

– А если бы нам сейчас рояль?!

Юра изображает игру на фортепиано, лицо его вдохновенно. Стогов переходит на речетатив и с ходу читает монолог Гамлета «Быть или не быть, таков вопрос». Слова «Офелия, в твоих молитвах, нимфа, да вспомнятся мои грехи», он произносит, протягивая ко мне руки.

Я смеюсь.

– Перевод Лозинского, между прочим, – важничает Стогов. – Что касается хвалёного Пастернака, у него есть строка «Жизнь прожить, не поле перейти». Юра, ответь, это что, Гамлет? Это – принц?!

– Нет, это дехканин. Давай споём.

На этот раз звучит известный бард.

– Хорошая песня, – вздыхает после исполнения Стогов. – Но бард... Тот ли он, за кого себя выдаёт?

– Сдулся он, – грустно замечает Юра. – Если бы не дама, я бы сказал о нем более определенно.

Две пустые бутылки из-под ликёра уже валяются под столом.

– А теперь, не худо было бы спеть, Боб, что-нибудь для поднятия духа, – замечает Стогов.

Минутная заминка. И вот уже они поют «Прощайте, скалистые горы...» Про то, как они вышли в открытое море, как плещут волны на борт корабля и что сил хватит, чтобы сразиться с врагом. И что они непременно вернутся домой с победой, и что «я знаю, друзья, что не жить мне без моря...» Песня начинается проникновенно, а заканчивается ожесточенно и горько.

Они долго молчат. Юрий сидит за столиком, опустил голову на руки. Когда он поднимает глаза, они подозрительно, будто от слёз, блестят. Стогов говорит хрипло, без прежней весёлости:

– А ты помнишь, Боб, горы, зелёнку и как мы брали за Фаберже бородатых урок?

Юра-Боб презрительно усмехается.

Стогов поясняет мне:

– Людей с Кавказа надо сразу брать за Фаберже, они другого обращения не понимают.

– Бася – шакал, – словно вспоминает Юра.

– Да, он себя нехорошо показал тогда, – соглашается Стогов.

– Гуманист.

– За чужой счет.

Они обмениваются короткими фразами, из которых понятно, что все они когда-то вместе учились, что Бася курировал их «работу» на Кавказе, и что в результате из армии вылетели все трое.

– Ладно, Боб, хватит, – говорит Стогов. – Повеселились, поплясали, пора и баиньки.

...Иду по коридору с полотенцем через плечо. Двери других купе открыты. Звон гранёных стаканов – пассажиры взяли у проводницы посуду, «разливают» и закусывают. Пьяный Бася пытается накормить печеночными оладьями благообразного еврея в очках, в руках у того – книжка Борхеса.

Когда вхожу в купе, попутчики спят. Стогов лежит на нижней полке, лицом к стене и сладко похрапывает. Его спина обезображена огромным рвано-багровым шрамом. Юрий неразборчиво бормочет во сне, всхлипывает. Поезд мирно стучит колёсами – тук, тук, тук... А в голове – «ехали на тройке с бубенцами...»

Ну и гарбузы!..

...И приснился Марии сон. Будто они с Ларисой в чужом доме хозяйничают. Сестра любит наводить порядок: взбила перины, подзоры поправила, подушки напушила. Ну и подмела, конечно, скатерть перестелила, шторы туда-сюда смыкнула. И сразу обстановка городской вид приняла – чужой и чуть надменный. Аристократический даже – мол, мы тут специально вам «деревенский ампир» нагнетаем – смесь ручной вышивки и фабричных турецких дивандеков, не надо с нами панибратствовать!

А Мария тем временем посудой на кухне гремит, обед готовит. Старается, потому что не для себя. Свой-то, обычный борщ, она варит, погруженная в посторонние мысли и мечтания. Ну, всё равно хорошо получается – просто и вкусно.

И только они закончили работу, за дверью – громкие голоса. Гомон. Да, кажется, что и песню поют: что-то старинное, народное. «Имел бы я золотые горы... и реки, полные вина...» Или даже: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...» (хотя лето на дворе). Мария открывает дверь, а на пороге родня: дядя Воля, тётя Зоя (и, кажется, даже покойная тётя Даша), а за ними «выводок» – дети, внуки, зятья, невестки. Никак, картошку копали – кое у кого в руках лопаты, вёдра. (Чего в хату переть? – тут же мелькнуло у Марии. – Ну и оставляли бы всё около сарая.) Родня явно на подъеме, гуртом всю работу сделали, теперь на песни потянуло.

Сёстры и сказать ничего не успели, как гости (или хозяева – хата-то чужая!) смущённо смолкли. «Видишь как, – с горечью подумала Мария, – веселиться им помешали!» Выходит, что родня уже особо в голове и не держит, что у сестёр мать померла. Но увидели постные лица Полининых девок, вспомнили.

Правильно, кому оно, чужое горе, интересно? Жизнь идет, некогда печалиться, надо крепчать и богатеть («Надо общаться с людьми успешными!» – вспомнила тут Мария наставление одного своего городского знакомого). В общем, получалось, что родня вроде бы в одном лагере, а Лариса и Мария – в другом.

Этой обидой сон, наверное, мог бы и закончиться, но тут всплыла следующая картина, «эпизод». Родня поела, отдохнула и разместилась в обширном зале у стен – на диванах, стульях, лавках, креслах и проч. В этом обилии людей Мария опять столкнулась взглядом с покойной тётей Дашей, и с надеждой стала осматриваться: нет ли поблизости матери?! И с привычной уже, давящей тоской ощутила – нет, нет... А тётя Зоя тем временем заинтересованно-иронически спрашивала: «Чё ж, Маш, как там твой мужик? Туша эта?» В другой раз Мария бы отшутилась, замяла разговор (как она всегда делала), а тут вдруг ей что-то так обидно стало, аж слёзы в глазах закипели. Не помня себя, выскочила она на середину комнаты и стала доказывать оцепеневшей родне: «Он – больной человек, у него обмен веществ нарушен! Что же я, по-вашему, бросить его должна?!» Начинала она тихо, а закончила почти крича. На этой истерической ноте Мария и проснулась.

Долго она смотрела в дощатый потолок цвета густого тумана – от смешения красок такой вид получился, маме – нравилось... «Хорошо!» – вспомнила мамин голос (теперь вообще всё припоминалось – словечки, истории, которые она рассказывала, выражение лица – и всё это было близко-близко, будто Мария пользовалась увеличительным стеклом, скрадывающим время – мамы не было больше года).

Она ещё немного полежала, поленилась на перине (мамиными руками сделанной), на высоких, как горы, подушках. Ну, родня понятно, почему приснилась: Лариса ей вчера звонила, наставляла: должен приехать дядя Воля, забрать гарбузы. Пропасть их было на огороде в этом году, весь двор завалили. А куда девать? – хозяйства, считай, никакого. Куры, утки, два кота (один свой и кошечка к нему прибилудилась чужая плохонькая). Гарбузы растянули по

сараям, частично даже в хату занесли, но всё равно приличная куча у ворот лежит. А у дяди Воли – корова, ему пригодится.

Мария встала, первым делом управила невеликое хозяйство, разговаривая, по примеру матери, и с курами, и с утями, ну а уж с котами, это само собой, потом наготовила еды – картошки сварила, перцы нафаршировала. Могла бы и борщ составить, но решила, что это уж слишком – такой стол для неё одной.

Аденёчки стояли – золотые. И вчера, и сегодня. Утром – мелкая, сверкающая роса на траве, и длинные лучи солнца пробиваются сквозь густую-густую крону придорожной вербы. А днём – ровное, безветренное тепло, на небе – ни облачка, но нет изнуряющего жара и духоты, нет и сельской унылой пыльной работы – прополки, например, а есть сентябрьская грусть – последние красные яблочки и крупные мягкие сливы, выработанный огород (только свекольная ботва тут и там зеленеет полосками, а картошка – выкопана, спрятана в погребе). Мария налила в пластиковую бутылку воды, хату на замок, и на кладбище – к маме. И к брату, которого мама на 13 лет пережила. А каково ей было? Про то никто, кроме неё, не знает...

Мария сидела на кладбище у могил, думала. Не плакала. Чего плакать? Прошлого не вернёшь. Прошрое – это такая счастливая заводь, совсем другое время. Странно всё устроено: к закату жизни привыкаешь к потерям. Пора свадеб (в юности) быстро мелькнёт, потом идут потери, потом – если, конечно, выдержишь, переползёшь эту мёртвую полосу, опять свадьбы... Только они уже не такие бесшабашно-безрассудные (Мария грустно улыбнулась, вспомнив свою), поёшь и плясешь на них с оглядкой, быстро уставаая от веселья. А потом – внуки... И – небытие. Маленькая жизнь.

А дядя Воля говорит: «Покойники не любят, когда к ним часто ходят». Правильно, он человек деловой, чего ходить, беречь прошлое, лучше что по хозяйству сделать. Мария старалась не горевать. Она сидела и думала о настоящем. Вот, у могилы брата дерево выросло незаметно – метра три уже. Долго ничего тут не приживалось – и дубок сажали (специально мать с отцом ходили в дальний лесок, искали деревце), и клён, и сосенку – всё пропадало, не приживалось. А вот этот саженец «приткнули абы как» – и он зацепился. Выросла ольха. Шепчет чего-то, рассказывает. А цветы на венках выгорели, ленты поблекли, истрепались. Красивые были венки, торжественные. Родня навезла. Теперь ни к чему они больше, выбросить надо...

Вернулась Мария домой, только в хату зашла, слышит: ворота – грым-грым. Дверь открыла, а на пороге – дядя Воля с Сережкой. «Ну, здорово, хозяйка», – огромный дядя протянул огромную руку поздороваться, лопату, можно сказать, а не руку. (Вот вам и дети военного времени! – восхищенно мелькнуло в голове у Марии; дядю она любила, а внешности его всегда изумлялась.) Сережка улыбается, ехидно-приветливо, выглядывая из-за отцовского плеча. Это у него манера такая. Надо же, сон в руку! «Чем ты тут занимаешься? Мы щас хозяйство глянем». Мария запаниковала, забегала – гости в доме! – чашки-тарелки суетливо расставляя и путаясь. Быстрее на стол собирать: перцы фаршированные, сыр, колбасу, хлеб, огурцы солёные. Сережка покровительственно распоряжается, похохатывает: «Хватит, остановись, и так уж здорово». Марию кольнуло: видишь как, всякий помыкает ею!.. А будь при ней справный муж, разве бы она так бегала, трепетала?! Павой ходила бы!

Но вслух Мария говорит:

– Присаживайтесь, дядя Воля! (Сережка без всяких приглашений давно сидел.) Лариса вам привет оставила, – и она вытащила из холодильника бутылку белой.

– О, – оживился дядя Воля, – это мы разберемся, порешим.

Мария гостей потчует и разговор поддерживает. «Отец, значит на обследовании?» – «Ну да, в Тамбов поехал, ничего серьёзного, а так, сосуды, возраст, пусть врачи поглядят». – «А ты отпуск специально взяла, здесь сидеть?» – «Что сделаешь, Лариса на работе...» – «А на

курорты когда?» – это Сережка ехидничает, шурит светлые глаза из-под мальчишеского чубчика. А уж сорок лет ему, они с Марией ровесники.

– Ну, что там она за жизнь у тебя в Сибири? – дядя Воля уже опрокинул две или три рюмки (с выгравированной розочкой на стаканчике – мамина посуда!) и его потянуло на неспешную беседу.

– Обычная, что и везде. Народ живет трудно, а кое-кто и разбогател круто.

– А парень твой чем занимается?

– Максим учится в университете на менеджера. На втором курсе уже.

Вроде и разговор весь. Дядя Воля пьет и не закусывает почти. Так, сыра кусочек взял. Зато Сережка не теряет:

– Сестричка, ты бы еще мне колбаски нарезала, я бы не отказался.

– Конечно, конечно, – засуетилась Мария. И снова эта суетливость её задела: вроде бы она у себя дома, не в гостях, а как-то не путём всё получается...

Ну, обсудили родню, и тетю Зою, и двоюродных сестер-братьев (весь куст, кто чем занят), да как дети растут, да кто что купил; и тут Сережку (хотя не пьет, за рулем!) потянуло на философию:

– У каждого своя судьба, кому от чего задумано помереть, так оно и будет. И вообще... Ты вот скажи, довольна ты тем, чего достигла, жизнью своей?

Вопрос Сережка ставил так, что и ответ подразумевался: нет, все плохо, сижу в Новосибирске в полной родственной изоляции у разбитого корыта, занимаюсь, на взгляд сельского человека незнамо чем (магнитной кумуляцией, прости Господи), получаю за это две копейки и просвета не видно... Заканючь так Мария, может быть, и разжалобила бы она родню, расположила бы её к себе. А так, на отшибе племенных связей, она мало вписывалась в «коллектив». Во-первых, от села оторвалась. Во-вторых, в городе не особо укоренилась – то есть, не разбогатела – ни детьми, ни деньгами... Так какой смысл был учиться, жить в мешках каменных чёрт где?!

Марии всегда не хватало хитринки, изворотливости («Простушки мы с тобой!» – вздыхала Лариса), вот и сейчас она смешалась. «Не знаю... Даже святой, разве может он сказать: „Моя жизнь удалась“?! И потом, неужели все зависит от человека? Это же глупо!» – всё это мелькнуло у нее в голове, но сказала она другое, «напустив туману»:

– Понимаешь, у каждого есть план его жизни, «карта», дорога, и нужно по этому пути пройти...

– Что это за «карта»? – изумился Сережка.

– Ну ты же сам говорил о судьбе, – и она показала глазами на потолок.

Сережка продолжал наседать:

– А пенсию где собираешься встречать?

Мария опешила:

– Да вот же, хата есть...

– А-а-а...

Дядя Воля всю бутылку не допил, а брать остатки с собой отказался: «Лариса придет, может, праздник какой отметит».

Вышли на порог, сели. Прямо перед кучей гарбузов (разволнованная встречей и разговором Мария и думать о них забыла!). Что ж, ещё о родне покалякали, кто чем переболел, у кого какая работа, как в колхозах (то есть АО, ООО разных и проч.) теперь живут и какая осень ожидается. Гости чего-то медлили, Мария это чувствовала, но понять причину никак не могла. Наконец, все вышли за ворота, Мария стала нахваливать машину – грузовичок небольшой, увёртливый, бензина мало ест, но что-то привезти-увезти – техника незаменимая. Сережка, уже не маскируясь, ехидненько ухмылялся.

Ну, сели и укатили. И тут до Марии дошло ужасное: а гарбузы-то осталась!.. Родня-то за ними приезжала! Ну, народ!.. Значит, бутылку водки выпить, полбатона колбасы съесть – это, пожалуйста, про высокие материи демагогию разводить – на здоровье, а сказать: мы, мол, за гарбузами приехали – «такт» не позволяет, воспитание!

– Я ж эти гарбузы не сеяла, не убирала, я про них и думать забыла, – горячо каялась Мария жене Сережки по телефону. (Родичи до своей деревни еще не доехали).

– А я и не знала, что они за гарбузами к вам, – строила из себя невинную овечку невестка. – Думала так, проведать поехали. Но я Серёжке передам, ты не переживай.

Вечером прикатила из райцентра Лариса – в брючном костюме болотного цвета, блузка салатная, туфли на широком каблуке. Модная, любит по тряпкам ударять. Ну, сели на скамейке во дворе (опять же, перед этой кучей гарбузов!), Мария, переживая, стала рассказывать про свою оплошность. Но получалось не драматически, а комически; и в результате Лариса (вообще склонная к трагическому мироощущению) начала хохотать:

– Ещё подумают, что ты над ними специально глумилась!..

– А я говорю: машина какая хорошая – привезти-увезти что...

И сестёр, теперь уже обоих, разобрал смех – еле-еле утишились!..

– Ладно, – решила Лариса. – Сейчас позвоню Серёжке, пусть приезжают, забирают, а то отец из-за этих гарбузов вообще с ума сойдёт – как же, такое добро гниёт, пропадает!

Уходя в хату, Мария оглянулась на расписную кучу – ярко-оранжевые, желтые, лимонные, тёмно-тёмно зелёные, большие, здоровые, ровные, круглые, вытянутые плоды, ядрёные и крепкие. И тихие, густые сумерки спускаются. И брёх дальней собаки. И – большая часть жизни уже, наверное, за спиной... А что же нажито?

За ужином Лариса наставляла:

– Там они мулеватые, наши родичи, это страсть. Говорят одно, думают другое. Вот сейчас я звоню, спрашиваю у Сережки: чё ж вы гарбузы не забрали?! А он: да у нас полный кузов цементу был.

– Брешет, – убеждённо говорила Мария, легко переходя от высоких материй к просторечию, – они мне намёки подавали, время тянули...

– Да конечно брешет, – поддерживала её Лариса. – Но у них деревенская дипломатия: мол, мы у вас что-то берём, но нам это как бы и не нужно, и мы вам большое одолжение этим делаем. И они все трое такие – и тётя Зоя, и дядя Воля, и тётя Даша покойная (Царствие ей Небесное). А мать их никак понять не могла – она же человек открытый! И всех по себе мерил, тем более, что родные сёстры, брат. А тут – такие зигзаги. Они-то понимали, что она и лучше их, и умней, и несчастней, к сожалению. А простить ей этого не могли. Потому что главный их девиз – быть в куче. А мать – всегда наособицу. Хотя и старалась в эту кучу влезть, «не отрываться»... Помнишь, на Казанскую мать посылала нас тетю Зою и дядю Волю проведывать?..

– Ну да, мы ещё кагор возили, тётю Дашу поминать...

– Так это ж она через нас мирилась с ними! Неужели ты не поняла?

– Да я как-то...

– А ещё с академиками общаешься! Нанотехнологии!.. Лариса в очередной раз подивилась житейской бестолковости сестры. – Она же с дядей Волей вообще последний год не разговаривала. Так, на Пасху только позвонит, поздравит, и всё... Она ему сказала: ты сестру (тётю Дашу то есть) на водку променял. И вдруг нас послала их проведать. Вроде как отношения с ними восстановила. Через нас. Как чувствовала, что умрёт скоро. Представляешь, сколько достоинства: простила их, через обиду перешагнула!.. Дядя Воля – старший в роду, столько нам помогал, ей бы с ним дружить-ладить, а она разругалась вдрызг.

– А из-за чего весь сыр-бор разгорелся?

– Да я ж тебе сколько раз говорила, чем ты слушаешь? – возмутилась Лариса. – У тебя прям не голова, а проходной двор. И нынче, с этими гарбузами, – тут она не выдержала и снова расхохоталась, – скажут, у них вся семья «того»...

Теперь Мария припоминала историю родственного раздора. С покойной тётёй Дашей мама была ближе всех. Жалела сестру: ей, доброй и славной, попался жестокосердный муж. Был он тугошек, с раскатистым и нахальным голосом, с бесстыжими серыми глазами навывкате. И вот, на Сережкиной свадьбе (это было лет десять назад, наверное) во время даров подносил он гостям угощение и водку вместе с Дуськой – бойкой и гулящей бабёнкой. Тётя Даша тогда удивлялась такой роли супруга: «Чего это он полез в верха, выискался какой хозяин!» На что сидевший поблизости муж Дуськи-Дульсинеи, больной и смиренный мужик вздыхал: «И ничего-то вы, девки, не знаете...» Имелось в виду, что муж тётёи Даши и Дульсинея давно таскаются, а свела их жена дяди Воли.

Ну и когда тётя Даша померла, на сорок дней вдовец уселся по главе поминального стола вместе с Дульсинеей. «Что это такое? Что за оскорбление? Свадьба тут, что ли? – негодовала мама. – Всю жизнь Дарья от него тычки собирала, прожила как в тюрьме, а теперь он – жеребцует, а она – в могиле...». И с поминок – чуть посидевши – ушла. И отца – увела. А дяде Воле сказала: «Ты сестру на водку променял...» И он – смолчал, ничего не ответил.

Младшая сестра, тётя Зоя, дипломатничала:

– Ды хто его знает, Полин, как оно надо... Конечно, жалко Дарью («Она в гробу вся чёрная лежала», – вспоминала мама), че и говорить, – и тётя Зоя начинала вытирать слёзы, скопившиеся в углах её до сих пор красивых, с поволокой, глаз. Она и сейчас, в возрасте, была притягательна – правильные черты лица, грудной голос, опрятная, пусть и тяжеловатая, фигура. Недаром среди родни считалась тётя Зоя первой красавицей. Говорила, осторожно пытаясь примирить сестру с братом:

– Оно ж, Полин, не поймешь, как лучше. Если он от Дарьи всю жизнь прогулял, как его теперь удержишь?!

– Насмешка какая!.. – горько качала головой мама. – На сорок дней с шалавой уселся в святом углу... Где это видано?! Живи один, чё ты бегаешь в таких годах по бабам?! Сын у тебя есть, к нему тулись, помогай чем. Проституты! – слово это мама выговаривала как страшное и горькое ругательство.

– Дарью не вернёшь, живым – живое...

Так и пошла между родней трещина. Но, оказывается, успела мама перед смертью помириться. Ночью, когда гроб матери стоял здесь, в хате – Мария не высидела, намаялась, измучилась от горя, легла чуть прикорнуть – она слышала, как дядя Воля говорил Ларисе своим густым, основательным голосом:

– Посижу возле сестры, последний раз её вижу!

Всё вроде затихло, затянуло, а тут эти гарбузы... Мария даже головой потрясла от досады. И – улыбнулась. Вспомнила, как пересказывала Ларисе разговор с Сережкой про то, где она пенсию собирается встречать. Сестра досадовала на её несообразительность:

– Надо было говорить: в Европу на покой отправлюсь. Или, в крайнем случае, на Канары – там климат мягкий. Пусть бы языками чесали, всё им отдых какой... С ними без задора, без конкуренции – никак! Они вообще твоего смирения не понимают, толкуют как слабость. Такой народ! Хотя, может, и правильно это. В наших местах по-другому, сама знаешь, нельзя...

Мария лежала в постели, вспоминала события сегодняшнего бурного дня. И поверх житейских забот и раздумий вдруг всплывали мелкие, казалось бы, ничтожные впечатления. Огромные глудки, комья земли (будто отец не копал, а пахал!), земли – чёрной, а дальше – кочаны капусты – гигантские розы холодно-сизого цвета, дальше – помидоры поздние – большие, розовые, в желтеющих, распластавшихся по грядке кустах, потом яркая петрушка, и, наконец, в углу, у забора – алые бока поздних яблочек, почти волшебных, а над ними – золо-

тые, как лимоны (другой сорт), плоды, и наконец, в листве дальше, если присмотреться, можно увидеть нежно-розовую сливу, почти растворяющуюся по цвету с вечеряющим небом. А после, к ужину, в ведре оцинкованном, серебристом, на самом дне, помидоры бурелые и красные (один – большой!), три сливы – крупные, два краснобоких яблочка и букетик из петрушки.

Эти помидоры, выросшие на земле, сливы, поднятые с земли, зрелые поздние яблоки (такая белая и крепкая мякоть внутри!), эта только что сорванная зелень петрушки – неужели это и будет главной радостью её жизни?! Самым заветным и сладостным воспоминанием? Человек – с его капустными грядками, яблонями, гарбузами, наконец, с его желаниями и стремлениями, бедами и горестями, ну кто он перед вечностью, перед громадой жизни?! И разве можно жить без земли, без этого ведра (в капельках воды), на дне – сливы, букетик петрушки, помидоры – сизо-фиолетовое, малиновое, желто-горячее, нежно-зелёное, бело-розовое – ну, как без этого? Но почему же красота рождается в таких муках – и снова Мария вспомнила мать – и почему она трогает немногих, и почему жизнь так мучительна, бестолкова и быстротечна?!

...А гарбузы, кстати, ехидный Серёжка так и не забрал. «Некогда! В колхозе аврал», – отбрёхивался. Ну, ничего. Нашли желающих. Что ж такому добру пропадать! Скотина поест. Тем более, корм даровой. Конечно, не все отдали. Кое-что и себе оставили. Мария потом уже, в ноябре, звонила сестре, интересовалась:

– Как вы там встретили День народного единения и согласия?

– Да как... Сидели с отцом гарбузы перебирали....

– Зачем вы их столько сажаете? А потом мучаетесь!

Но это был вопрос риторический. На это она и жизнь, чтобы мучиться...

Альфонсиниада

– Утром проснулась от дикого крика – Сашка-сосед матом крыл, орал. Оказывается, ко мне на дачу залезли двое бомжей. А что, время восемь утра, и они, как на работу, выходят на промысел. Редиску у меня подергали и пионы срезали. Бомжи-бомжи, а с ножницами! С орудиями труда. Так жалко, куст смородины обломали, наверное, всё ей, каюк – не отойдёт, засохнет. А Сашка разъярённый, кричит: «Пойди их догони и убей!» Ну, буду я руки марать! Вот если б ко мне Абрамович залез, тогда другое дело. Я б его на мелкие клочки разорвала, – Анечка негодует, чёрные глаза её сверкают. – А то – два бомжа!.. Невидаль какая!..

Но неудобно было перед Сашкой – человек за мою редиску заступился, тревогу поднял. Поэтому я догнала бомжей и говорю им осуждающе: «Как вам не стыдно!» Ну и тому подобное, ахинея всякая. Это их не берёт совершенно, они и ухом не повели. Бомжи с пропиской – муж и жена, у них и квартира есть в совхозном доме. Но нигде не работают, живут разбойным промыслом, пьют, дети – не знаю где, то ли уже выросли, то ли в интернате; в общем, полная свобода и деградация. Вот так начался трудовой день, – Анечка вздыхает.

– Подожди, – говорю я, – а чего ты за бомжами бегаешь, у тебя ж защитник есть? (В прошлую нашу встречу Анечка обмолвилась, что наконец-то в её пустынной личной жизни возник оазис, и она соединила свою судьбу с русским богатырём, мужчиной из Сибири по имени Вася.)

– Ой, ну ты что! Он спал, его из пушки не разбудишь. Бомжи у него из-под головы подушку будут выдёргивать, он и ухом не поведёт. Вообще обнаглел. Нигде не работает, лежит, газеты читает. С двоюродным братом вместе кованые решетки ставили в коттеджах, так он с ним разругался. Теперь в кризисе. В депрессии. Хотя ест – будь здоров. Вышел, правда, участок обкосил – и всё. И на день рождения мне подарил открытку – два зайчика возле норки, в корзинке – морковка. Подписал: «Анички от Васички. На долгую память...» Не забуду, это точно. Брат мне рассказал, что он дома, в Сибири, уже нахвастал: мол, у него в Подмосковье на отхожих промыслах баба есть «учёная» и что здесь он в большом фаворе. Но, если вдуматься, зачем он нужен?!

– Альфонсиниада.

– Во-во! Мне одна знакомая говорит: Ань, если тебе хочется кого-то кормить, ухаживать за кем-то, ты купи себе поросёнка. Потом хоть заколешь, польза какая-то. А от «Васички»?! Одни убытки.

– А морковки?..

– Это виртуальное. А в реальности – осталась без редиски. Жалко! Бомжи даже не подёргали (и на это ума не хватило!), а потоптали больше. Но у меня тут был расход с редиской не сравнимый. Брешь в бюджете образовалась страшная. Пришлось домой ехать срочно. Отец звонит на сотовый: чувствую, что-то случилось. А что – не говорит. Ну, последняя родная душа на свете осталась! Всё бросила, на самолёт до Краснодара, автобусом на Армавир.

Захожу домой. Отец вроде мне и обрадовался, и в то же время как-то странно смотрит... Гляжу – жертв и разрушений нет, вещи на месте, давление ему померила – порядок. «Пап, говорю, ты чего?» А он на меня трагически-патетически взирает и медленно так, подбирая слова, говорит: «Аня, мы с мамой тебя всегда учили не лгать, не брать чужого. Мы тебе хорошее образование дали. Музыкальная школа с отличием, два языка. Университет. Учёная степень – вспомни, ты – кандидат биологических наук! Ты – взрослая женщина, и для тебя, конечно, я не авторитет. Но...» Чувствую, сейчас он заплачет – руки дрожат. Я прямо терпение потеряла, начала кричать: что тут происходит?! И он мне подпихивает желтую газетку. А там – ну тут меня такой хохот разобрал! – и Анечка начинает смеяться.

Наконец, успокоившись, продолжает.

– В общем, в газетке статья о жизни жен олигархов. Ерунда всякая. Как они встают в три часа дня, по салонам красоты и фитнесам наяривают, от безделья маются – мужья-то в бизнесе, бабки заколачивают! Дети у них, если есть, на гувернантках и нянях, материальных проблем – ноль, личная жизнь устроена. Но любому человеку нужны острые ощущения, микро-стрессы для тонуса, для выработки адреналина. И потому жены олигархов воруют товары в супермаркетах и бутиках. Это у них высшим шиком считается. Но некоторые олигархи ни попадают в руки правосудию – такие случаи известны. И вывод: богатые тоже плачут, хоть и недолго... Глупую эту статейку иллюстрирует фотография. А на ней – ну это полный абзац – два милиционера тащат меня в «воронок». На мне полушубок норковый, лицо полно праведного гнева, а правая рука сжата в кулак!..

В общем, бедный папа! Дочь тайно вышла замуж за олигарха, возможно, глубоко криминального, потому что я это скрываю (а он-то меня в коммунистической идее воспитывал!), подворовывает в бутиках (а ему рассказываю, что скромно живу на дачке в Мамонтовке, редиску выращиваю!), да ещё и прославилась на весь мир! Тут, пожалуй, потеряешь покой.

А как было дело, откуда эта фотография появилась?! Когда американцы начали бомбить Сербию, я как раз приехала в Москву, уточниться с диссертацией. Ну а поскольку я, благодаря папе, всегда была страшно политизированная, а тут вообще случай возмутительный, то в стороне не осталась. И мы с подружкой двинулись к посольству Сербии выразить солидарность братскому народу.

Приходим на Мосфильмовскую улицу. И что мы видим? Позор России! Напротив посольства идёт – ну это же ясно! – инспирированный нашими продажными властями митинг в защиту и поддержку Косово! Человек десять убогих евреев, безродно-неопрятного вида, стоят с плакатиками фабричного изготовления, которые им «правозащитники» раздали: «Милошевича – под суд!», «Свободу – народам!», «Москвичи за независимость и толерантность» и тому подобное. Митинг дохленький (видно, по всему городу иуд собирали), но камер согнано, журналистов – тьма! В основном, кстати, западная пресса съехала. Им же надо картинку выдать – какой в России одобрям-с Америке!

Я, конечно, не стерпела. Закипела во мне кровь армавирская. Подхожу к пикетчикам и говорю во весь голос: «Ну, суки нанятые, сколько вам сребреников заплатили?!» А они заблеяли: «Мы – сторонники демократии, мы по убеждениям, мнение своё выражаем!» (Евреи по убеждениям куда-то пойдут, на холод – март месяц был... В защиту косоваров, мусульман, кстати... Не смешите людей!) Ну, и стала я напротив этой кучки иуд собирать анти-митинг – в поддержку Сербии. И, знаешь, народ откликнулся. Быстро человек двадцать набралось – из прохожих и зевак. И мы начали скандировать: «Иу-ды! Иу-ды! По-зор! Поз-ор! А-ме-рика – убий-ца!» А поскольку правда была на нашей стороне, получалось зажигательно, азартно, и ряды наши стали потихоньку расти.

Тут западные камеры бросили коллаборационистов и начали нас снимать. Да ещё на двух языках (английский, немецкий), я стала им объяснять, что, мол, господа журналисты, не участвуйте в распространении провокативной лжи, народ России против бомбёжек Сербии, мы проклинаем фашистский режим в Америке, соглашательство дебила Ельцина и олигархической верхушки, захватившей власть в стране. Пока я так вещала, иуды вызвали милицию – мол, нам мешают санкционированную акцию проводить! А один из продажных митингантов пролез ко мне, пристроился за спиной с плакатиком. То ли это стукач был – сведения собирал, то ли он хотел, чтобы его, а не меня, в камеру показывали. Эксгибиционизм духовного содержания. Ну, я вещаю, и вижу боковым зрением, что он ко мне присоседился. И я – раз! – рванула рукой его плакат! На две части. А милиция только и ждала повода – они меня цап! За «нанесение вреда имуществу митинга», «хулиганство» и тому подобное. И потащили меня в воронок!..

Ну, что тут началось! Это же «экшен»! Камеры снимают, фотоаппараты вспышками слепят, корреспонденты лопочут в микрофоны, газетные журналисты с блокнотиками бегают, толпа ревет! Я кулаком потрясаю: «Сербия – мы с тобой!» А милиция меня корректно, почти-тельно тащит – как же, такое стечение прессы. Кстати, нормальные ребята попались, мы с ними потом чаёк попили в отделении, они протокол составили и отпустили меня с миром. Даже не оштрафовали.

И вот, прикинь, через столько лет всплывает фотография с этого митинга...

– Ничто на земле не проходит бесследно. Фотокор подумал: не пропадать же добру! – и я не могу сдержать смеха, представив Анечку, читающую статью о своей криминально-олигархической жизни.

– Ага. А я так расстроилась сначала. Сволочи, думаю, беспринципные. Папу моего разволновали, чуть до сердечного приступа не довели. Хотела на них в суд подать...

– ...в Гаагский трибунал.

– Да. Но неохота связываться с этой волокитой. Хотя, может, еще и подам. Вот, Васичку выгоню, и займусь продажно-клеветнической прессой... Потому что весь Армавир на ушах – кого ни встречу, все спрашивают – «как жизнь?», но спрашивают опасливо и глаза отводят. Скажут: неизвестно, что у неё на уме, еще «закажет», или в асфальт закатает. Не буду же я всем бегать, объяснять, что и как...

– Слушай, – говорю я, – а представляешь, если бы газета о твоих проделках в бутиках попала бы на глаза не папе, а Васичке?

И мы хохочем, представляя эту сцену. Потом Анечка вздыхает:

– Васичка у меня ревнивый, это правда. Весь день лежит, ничего не делает, а вечером начинает названивать. «Ты где? Когда будешь? Почему на электричку опоздала?» Приревновал меня к коллеге, его тоже, кстати, «Васичкой» зовут. Тот мне свою брошюру подарил по молекулярной биологии. Там одни формулы. Мой надулся: «Что это такое? Ничего понять не могу». Это ж не зайчики с морковкой! Учится, говорю, надо было в школе. А он: «Ты учёная, а с неучёным живёшь!» Тоже правда... А я вчера в Госдуме была, там экспертов собирали по экологическому законодательству. Разговор пустой совершенно. Я уж думала, день совсем пропал. Напоследок, правда, набрала два пакета газет. Их там бесплатно выкладывают в специальные корытца. Кто хочет, берет. И я взяла себе «Парламентскую» и ещё что-то...

– Неужто Васичку эта пресса интересуется! Да ещё в таких количествах? Или вы её бесплатно по Мамонтовке разносите?

– Да нет, Вася газетами печку протапливает. Лето дождливое, домишко дырявый, холодно. Гламур, я заметила, плохо идёт – краски много, копать от него, грязь. А парламентская пресса – в самый раз. Идет по своему прямому назначению. Потому как ты помнишь – «из искры возгорится пламя...»

Новогодняя ночь

Я – мужчина пожилой, старый алкоголик, можно сказать. Пью, потому как уверенней себя чувствую в хмельном состоянии. Мир после двух-трёх рюмок улучшается волшебным образом: всё становится разноцветным, праздничным, чувства обостряются, как в молодости. Раскованным становлюсь, остроумным – женщины от меня в восторге (мне так кажется, во всяком случае).

На исходе советских лет преподавал я в спецшколе, детишек учил. Была у меня одарённая ученица – Ксения Лапко. Девочка из интеллигентной семьи, тоненькая, светленькая, глазки – голубые чашки, умные-умные. Родители на неё дышать боялись, мечтали вырастить из неё гармоничного человека: Ксюша и балетом занималась, и рисованием, и катанием фигурным. Чистота в ней была необыкновенная, обаяние, доброта. Замечательная девочка: глубокая, нравственная.

С отцом её, Игорем, я дружил со студенческих лет. У нас было общее увлечение: байдарочные походы, песни у костра, альпинизм. Мы с юности заразились романтикой – ждали лета, чтобы с рюкзаками в Карелию, полюбоваться высоченными соснами, устремлёнными в синее небо, или на Байкал, припасть к его священным водам, или в горы – покорять вершины, парить над миром, побеждать себя, земное притяжение.

Ксения выросла, таланты её развиться не успели – она в восемнадцать лет вышла замуж по страстной любви, одного за другим родила четырёх детей. Муж её в «лихие 90-е» разбогател, развернулся. Не буду называть его фамилию – он в России человек известный, на заре своего «бизнеса» был близок к солнцевским бандитам. А теперь он – государственный муж, респектабельный господин из высшего общества, занимается благотворительностью, помогает молодым талантам – музыкантам, художникам. Денег у него – вагон. Ксения часто путешествует по миру с детьми, к светской жизни она равнодушна. А Игорю и его жене Зое благодарный зять выстроил дачку в Подмоскowie.

И вот старый друг позвонил мне перед Новым годом, говорит: «Приезжай, посидим у камина, встретим праздник вместе. Что ты один будешь куковать?» (Знает, что с женой я развёлся – из-за моей пьянки, денег нет – откуда они у пенсионера-забуддыги, и вообще, у меня «всё в прошлом» – как у двух старушек на картине с таким же названием.)

Прислал мне Игорь к подъезду иномарку с водителем, двинулись мы за город. Въезжаем в элитный посёлок, возле шлагбаума – охранник в камуфляже с автоматом. Я хмыкнул: вот, мол, как от народа его радители отгораживаются!.. Водитель смолчал, включил мне радио – классическую музыку, чтоб не раздражался я, значит. Едем, улица узенькая, по обе стороны – многометровые бетонные заборы. Да... Ну, правильно, зачем соседям чужое добро видеть?!

Вот и дачка Игоря. Ого-го!.. Сколько я не считал, пять этажей получалось. И один подземный ещё – там гараж с подвалом.

Вошел внутрь – охи, ахи, «давно не виделись!..» Постарел Игорь, лицо бледное, круги под глазами. Я тоже, понятно, не Фанфан-Тюльпан – хотя раньше меня с ним и сравнивали. Глянул на себя в зеркальную стену: бодрый старикашка, наполовину лысый, в сером костюме с Черкизовского рынка (первый раз за три года приоделся – всё повода не находилось).

Сели в каминной – большая зала, огонь потрескивает, ёлочка огоньками мигает, шкуры на полу лежат, лосиные и оленьи рога по стенам ветвистые тени отбрасывают, в центре стол круглый («Натуральный дуб!» – похвастал Игорь), Зоя в праздничном платье – соболя на плечах. Три официанта в белых перчатках вокруг нас хлопочут: один вино подливает (из французских погребов, сумасшедших денег стоит), другой осетрину несёт на вертеле, третий соусом потчует...

Пошла у нас застольная беседа – вокруг Ксении, понятно, других-то общих тем нету; где она сейчас (кажется, в Греции) и как жизнь у неё ладно сложилась, правда, рисование и музыку она совсем забросила, но женское ли это дело – творчество... Жалко, конечно, что внуков она дедушке и бабушке редко показывает, но зато дети с ранних лет повидают мир, порадуются новым впечатлениям. «А мы что видели?!» Я подумал: а как же романтика, Домбай, Канда-лакша и Листвянка, но промолчал из вежливости, дабы не разрушать семейной идиллии.

Я – человек не жадный на еду, но чтобы не обижать хозяев, попробовал я всяческих блюд заморских – продукты из дальних краёв привезены и специально нанятым поваром настряпаны. Хозяева угощают, видно, что от души. А мне, честно скажу, скучно с ними. Затосковал по своей компании: сейчас ребята, поди, у гастронома уже всюю праздник встречают, разливают по маленькой... Душевно, на природе! А Игорь – парень чуткий, заметил во мне перемену, говорит: «Давай выйдем, пройдемся по свежему воздуху, чего сидеть!»

А ночь была... Бархатная, тихая. Снег искристый. Сугробы голубые. Перед Новым годом над Москвой ледяной дождь пролился, деревья – от подошвы до макушки – в ледяном панцире, в каждая веточка – в чистейшем хрустале. Глянешь на аллею – красота неземная, фантастическая; и тут же себя одёрнешь – а сколько деревьев погибнет, рухнет под тяжестью льда, замёрзнет – дышать-то им нечем!

Игорь меня по дорожке тащит, к фонарному столбу кованому: «Сейчас увидишь!» Стал в сугробе рыть, откопал четвертинку, из кармана две конфетки замурзанные вытащил. Подмигивает: «Мне Зоя не разрешает крепкое, я прячу от неё. Выпьем?»

Пижонит, под народ подделывается, мол, я – могу и по-простому, из горла, хоть у меня три официанта за столом прислуживают. Слаб человек – не отказался я. Игорь приободрился: «А помнишь, как мы жили, как за котлетами по 7 копеек в очереди стояли?» Я киваю. Он хорорится: «Сейчас ткни пальцем в глобус – куда хочешь, туда и полетим. Хоть завтра. Мировое турне. Мы же мечтали джунгли Амазонки посмотреть!»

– Нет, – говорю, – поздно мне на Амазонку. Ничего не хочу.

Думаю: друг мой старый, какую туфту ты гонишь! Мы же пятьдесят лет знакомы, вместе и за котлетами стояли, и последний сухарь в походах делили, и к девчонкам в общежитие лазили, и театр на Таганке штурмовали, и забугорные «голоса» слушали, и в стойотрядах вкалывали...

Игоря развезло, он меня стал за грудки хватать, задираться:

– Ты мне завидуешь, да? Ксении повезло, при чём тут я?!

– Дурак ты, – говорю я ему. – Чему завидовать? Ну, сидите вы за забором, знать из себя изображаете. А страна-то голая из-за вас, уродов! По миллиону человек в год вымирает. Очнись, глянь вокруг себя, чмошник! Красота ваша – мёртвая, как эти деревья, в лёд закованные. Весна наступит – кругом сучья чёрные. А Ксения... Я как представлю дочь твою – чистую, непорочную, как она в одну постель с этим Каином ложится, вынашивает в себе детей его, мне страшно становится! Ради чего такие жертвы?! Из-за денег? Ксения не такая, чтобы за тряпки и побрякушки продаться. Ради любви? Поди, давно созрела, поняла, кто рядом. Значит, из-за детей терпит, мается; надеется из них людей вырастить...

Он отстал от меня. Потом... заплакал. «Я, – говорит, – про это стараюсь не думать. От меня ничего не зависит. Зять мне фирму купил – научно-популярный журнал. Водитель привозит на работу, я достаю из сейфа бутылку и пью по рюмке в час. По пятьдесят грамм. Спать стараюсь пораньше лечь, чтобы Зоя не ругалась. Вот такая у меня жизнь. А Зоя купила на свои честные деньги избушку на Оке (по сравнению с нашей дачей – это тьфу, сарай), уезжает на лето, ходит там по грибы-по ягоды».

Я усмехнулся: у богатых – свои причуды, Игорь – четвертинку под фонарём закапывает, Зоя – «народную жизнь» изображает... Я-то им зачем?! Для «экзотики»? Вот, мол, с бедняком Новый год встретили, благотворительный ужин провели.

Игорь уже успокоился, даже вроде и протрезвел. Стал меня просвещать:

– Я в своём журнале фактически ничего не делаю, так, иногда статейку какую прочту. Одна заметка меня заинтересовала: в Израиле учёный антихриста по атомам собирает.

– Зачем?

– К концу света готовится. Он раньше трупы замораживал, чтобы оживить их через триста лет.

«Допился до белой горячки», – думаю. А вслух:

– Я атеист, ни во что не верю.

– Правда? – Игорь так обрадовался, будто вместо одной зарытой чекушки две нашел.

– Ничего «там» (я дёрнул головой вверх, показывая на небо) нету. Я своим друзьям-ал кашам неоднократно эту теорему доказывал. Так что живи спокойно, не рыпайся. Расслабься, и получай удовольствие в своём тереме. Кому что на роду написано, то и сбудется: судьбу не проведёшь.

А про себя подумал: «Всё равно, Игорь, ты – чмошник, прихвостень криминального капитала».

Вышло, вроде как я – батюшка и грехи ему отпустил. Да мне не жалко – всё ж таки человек катал меня на машине, кормил, поил, развлекал, да ещё и кусок жареной индейки с собой завернул.

Ну, за сим мы и расстались. Водитель повёз меня домой (бедняга, Новый год в гараже встретил). На обратном пути я ему язык развязал. Рассказал: «Нормальные хозяева, хотя и с причудами. Но главное, платят в срок, жалование не зажимают».

Вот такой у меня праздник вышел.

Вечером отварил я картошечки, огурчик солёный достал из банки, старой подруге позвонил, поздравил её с тем, что дошкандыбали мы с ней своими мозолистыми варикозными лапами до нынешних дней. Потом стал петь в трубку:

Ой, матушка, грустно мне,

Боярыня, скучно мне...

Пел всласть, почти выл, и чем больше пел, тем веселей мне становилось: живём, хлеб жуём!

Ненаписанное интервью

Виталия Канавкин, редактор отдела культуры нашего «Глобуса», просто бредил книгами писателя Солоухина. «Нет, – хватал он меня за руку в коридоре, – ты послушай!» – и гнал наизусть какое-нибудь солоухинское описание природы, застолья или женщины. Память у Витали изумительная, читает он с выражением, с завываниями, как радиоартист. В таких случаях я не знала, как вырваться. Канавкин цитировал, комментировал, закатывал глаза, впадал в нервное возбуждение, сходное с морфиническим; так проходил час, начинался другой... Спасением было одно – если в коридоре вдруг появлялась новая жертва, потенциальный слушатель. Тогда Витали ослаблял цепкость захвата, и я малодушно скрывалась в своей комнате.

Канавкин – личность незаурядная. Душа его – полигон страстей, воплощение закона единства и борьбы противоположностей. Мать у Витали – русская, отец – еврей.

– Ну ты посмотри, какой жид! Типичный, местечковый жид, – философски рассматривал себя Витали, стоя перед зеркалом в моем кабинете. При этом он выпячивал небольшое, яйцеобразное пузцо (вообще он был тощий, как щука), отквашивал нижнюю губу, нос его характерно загибался, глаза приобретали скорбную влажность, и в целом он действительно походил на гримированных евреев из театра Марка Захарова.

– Пейсов не хватает, – ехидничала я. С национальным вопросом у нас было все в порядке.

– Ваши-то вчера опять номер выкинули, – говорила я Витале после выходных, пересказывая очередную телепроказу, – добром не кончится, ищите все приключений на свою библейскую голову!

Канавкин хихикал, как человек, застигнутый в момент вынашивания аморальных мыслей, и соглашался. Иногда, правда, его реакция на проделки соплеменников была бурной:

– Иуды! – орал он. – Суки! – голос его становился выше. – Гореть всем в огненной геенне! – Витали был крещеный и верующий.

Но журналистская работа есть процесс творческий, разногласия в нем неизбежны. Редко – раз или два в год – мы с Виталей крупно ссорились. Канавкин мгновенно переносил стилевые, жанровые или организационные нестыковки на национальную почву.

– Антисемитка! – истерически топотал он в коридоре перед моим кабинетом, при этом представители всех национальностей, населявшие нашу редакцию, панически захлопывали двери. Наступала могильная тишина. Витали продолжал бесноваться:

– Юдофобка! Националистка! – визжал он в театральном экстазе.

Как «старшей сестре» крыть мне было нечем. Я молчала. Спустя некоторое время Канавкин приходил мириться.

– Оля, – покаянно начинал он. – Я дурак! Ты знаешь об этом, – я горько смотрела в сторону. – Ну, прости, прости, – мурлыкал он, подлизываясь. Эффекта не было. – Ударь меня, подлеца, сволочь, скотину! – в праведном пафосе возвышал он голос. – Да, я плохой, злой, у меня тьма недостатков! – Я чувствовала, что если сейчас же не отвечу прощением, то покаяние превратится в представление.

– Ладно, мир, – торопливо прерывала я Канавкина.

Он садился рядом, бесцельно сыпал веселыми несуразицами, чутко следил за выражением моих глаз, как-то особенно фальшиво мне поддакивал.

– Что еще? – подозрительно морщилась я.

– Ты не можешь дать мне пятьдесят рублей? Или сто? – наконец сбрасывал он с души камень. – А то поиздержался, как Хлестаков...

Культурная политика нашего журнала была так же противоречива, как и личность Витали. В одном номере можно было прочесть «Россия, Русь! Храни себя, храни!», в другом

– «Россия – мать-алкоголичка, отец ее – тамбовский волк»; рядом с приличными рассказами соседствовали порой ужасные стихи (я до сих пор помню строчку «сушку в чаю мочи», между тем, речь здесь шла не о сдаче анализов, а о мирном философском чаепитии); культурную хроника в зависимости от обозреваемых событий Виталья подписывал либо маминой фамилией «Канавкин», либо папиной – «Фогельсон».

Характер материалов на полосах определялся тем, в лицо какой национальности и в какие идеи был в данное время влюблен Виталья. Чувства его были горячи, но не глубоки, увлекался он часто, отрекался не реже, влюблялся физически и платонически, в мужчин и в женщин, в прекрасное и безобразное. Кумиры сотворялись и рушились, и лишь один из них – Владимир Солоухин, был незыблем и вечен, как лохматый красный свитер Канавкина.

Наконец мне надоели «солоухинские чтения» в коридоре, и я спросила:

– Виталья, если ты его так любишь, почему не сделаешь с ним интервью? (Втайне я тешила себя мыслью, что, вылившись на бумагу, энтузиазм Канавкина иссякнет.)

– Я боюсь, – вздохнул редактор. – Да, боюсь, – он воодушевился этой мыслью и бросился ее развивать: – Кто я, что я по сравнению с Владимиром Алексеевичем! Ноль без палочки, речка без берега, тварь дрожащая, вошь безродная, – самобичевание было в числе его любимых занятий. – Потом, разве он согласится? – в печати как раз прошла информация, что Солоухин тяжело болен. – Как, что я ему скажу? У меня спазмы горло схватят, – трудно было представить такую ситуацию, но я смолчала. – Вот если бы с тобой, – спасительная идея пришла к нему в голову, – с тобой я готов идти на край света, хоть к сатане!

Остаток трудового дня Виталья потратил на мое уламывание. Я поняла, что попалась.

– Ладно, – сказала я. – Так и быть, пойду. В качестве эскорта. Безмолвного, почетного сопровождения твоей трусливой персоны. Но учти: текст писать будешь ты, вести беседу – тоже, – и Виталья утвердительно затряс головой, как китайский болванчик.

Теперь уже я надеялась, что Солоухин нам откажет. Канавкин с величайшим благоговением положил передо мной мятый клочок бумаги с телефонным номером.

Трубку взяли на шестом или седьмом гудке, глухо сказали «да».

– Владимир Алексеевич? – не вполне веря услышанному, удивилась я.

– Он самый, – охотно подтвердил Солоухин своим знаменитым владимирским говорком.

Я сообразила, что надо брать быка за рога, ковать железо, пока горячо, договариваться немедленно. «Старик может быть глуховатым», – мелькнуло у меня в голове, и я усилила громкость:

– Мы, сотрудники журнала «Глобус», Ольга Брянцева и Виталий Канавкин, просим вас дать для нашего издания интервью!

– Орать-то не надо, – степенно заметил Солоухин и в такой же раздумчивой манере назначил нам место, день и час.

Виталья плясал от радости «русскую» под собственный аккомпанемент, я хмурилась. Прикидывала: успею ли до послезавтра что-то перечитать? Не сидеть же толкушкой между двумя мужиками при умной беседе! И я рванула домой, к книгам.

Мы договорились с Виталей встретиться у платформы «Переделкино» и в первые секунды не узнали друг друга. Канавкин сменил свой красный свитер на рубашку с пиджаком; одежда была в разноразмерную клетку, и редактор отдела культуры сильно смахивал в ней на афериста начала XX века. Я тоже поступилась принципами – ходить на задания в брюках и в обуви без каблуков. На мне был весьма легкомысленный костюмчик, выгодно подчеркивающий то, что принято подчеркивать, и туфли на шпильках. Странная пара полюбовалась отражением в витрине пристанционного магазина и двинулась к кладбищу – Виталья утверждал, что это самый короткий путь к искомому дому.

Стояли майские дни, по-весеннему яркие, с молодым солнцем, с еще не затоптанной и не запыленной травой; пахло свежим листом, обновленной хвоей, подсыхающей глиной. Странно было в такой день лезть через чужое кладбище, да еще не вполне ухоженное. Большая часть растущих здесь деревьев и кустарников была поражена болезнью – кроны умирали, опутанные тяжелой, темно-серебряной паутиной. Туфли мои скользили по узким и грязным дорожкам, я проклинала свою глупость и Виталину тупость, грозилась, что ремонт обуви будет оплачивать он.

– Молчи, женщина! – витийствовал Канавкин и цинично декламировал:

– Чем о туфлях пеклись, смотри, сколько евреев лежат в земле сырой, не ведая забот! – он читал вслух нерусские фамилии с памятников.

Но все, в том числе и кладбища, кончается. Вскоре мы подошли к двухэтажному дому с облупленными голубыми ставнями. Во дворе сиротели старые белые «Жигули» с проржавленным кузовом. Мы двинулись вокруг дома в поисках входной двери и увидели белоголового невысокого дедка. Я открыла рот, чтобы спросить его: не знает ли он, где живет писатель Солоухин?; но в эту самую секунду Виталя, утробно екнув, воздел руки вверх и закричал со слезой в голосе, ставя каждое слово отдельно:

– Владимир! Алексеевич! Это! Мы! Журналисты! Пришли!

– Здравствуйте, – основательно сказал писатель.

– Здравствуйте, – растерянно сказала я и наконец-то закрыла рот.

Жалость сжала мне сердце: нас ждали. К нам готовились, для нас принарядились. По давноненадеванной сорочке шли складки, образовавшиеся от долгого хранения. Брюки были высоко поддержаны – гораздо выше талии – отчего писатель казался ниже ростом.

Сопровождаемые Виталиной болтовней, мы поднялись на второй этаж, в кабинет. У журнального столика горела настольная лампа, разгоняя полумрак от зашторенных темным окон. В просторной, даже чересчур, комнате тонули книжные полки, массивный письменный стол, редкие, одинокие стулья... Я споткнулась о пустую бутылку «Белого медведя», и она долго катилась по полу.

– Пиво-то я люблю, – заметил Солоухин.

Мы угнездились втроем у журнального столика, Виталя настроил диктофон. Теперь, вблизи, я узнавала и признавала в этом пожилом человеке известного писателя, чьими книгами когда-то зачитывалась. Лицо его было землистобледно, устало; глаза потеряли глубину и выразительность, черты одрябли; жизнь умирания начиналась в нем, но и эта жизнь – жизнь; он походил на большую, широкую, мелеющую реку, которая, даже погибая, несла прежнюю воду.

А беседа не пошла. Казалось, что Виталя знал о солоухинских книгах больше, чем автор. Канавкин подобострастно фанатствовал, льстиво цитировал, делал лестные сопоставления. Все без толку: писатель откровенно скучал, пару раз с трудом удержал зевоту, поддакивал вяло, а если и пускался в рассуждения, то они были донельзя вторичными по сравнению с его же собственными произведениями. Пытка литературой продолжалась минут сорок. Но вот Виталя дошел до мирского:

– Владимир Алексеевич! А книги-то у Вас сейчас выходят?

Писатель оживился – похвастать ему было чем – как раз начался выпуск его собрания сочинений. Мы склонились над одним из томов, разглядывая вклейку с фотографиями.

– Вот родители мои, – объяснял Солоухин, ударяя на «о», – вот дом наш в Олепино...

– Хороший дом! – невольно вырвалось у меня. Да и как не оценить высокий фундамент, фасад в пять окон, богатую крышу?!

Солоухин и бровью не повел. Продолжал:

– С ребятами в Литинституте, после войны. А это на съезде писательском. С Солженицыным в Вермонте, в Америке...

Фотографии закончились. Виталя снова взялся за работу:

– А вы современную литературу читаете? Пелевина там, Сорокина?

– Сорокина да, хорошо знаю, поэта, Валентина; а молодой человек ко мне приходил на днях, не помню его фамилии, просил рекомендацию в Союз, так читать невозможно. Но я дал, не жалко.

И эта тема была исчерпана. Тогда Виталя закатил очередной многоминутный монолог, уловить смысл которого не представлялось возможным. Очнулась я на слове «евреи», которым Канавкин закончил речь.

Тут-то и наступил перелом в нашей встрече. Слово за слово – и Солоухин разошелся.

– Если разобраться, – рассуждал он, – они мне лично ничего плохого не сделали, еврей-то. Наоборот, много хорошего, – писатель приводил примеры, – а от русских сколько я пакостей перенес – не передать! Но не в личной моей судьбе дело, сами понимаете. Они, – тут писатель нехорошо покосился в мою сторону, – что с родиной нашей сделали после 17-го года, сколько крови народной пролили! Знать-то, помнить надо это или нет?

Виталя подобострастно кивал, я прятала улыбку. И смех, и грех: двуликого Канавкина-Фогельсона писатель принял за красно-коричневого патриота и понес ему свои печали. Лекция была популярной, но содержательной – и на убийстве царской семьи остановились, и на уничтожении храмов православных, осквернении святынь, да и мало ли в нашей истории болящего и кровавого, когда к отечественной дури примешивался чужой злой умысел?! Солоухин последовательно, доказательно осваивал тему, Виталино лицо перекашивали гримасы, которые могли сойти за отсвет народных страданий, но Канавкина, если и корежило национальное чувство, то скорее «папино», чем «мамино».

Дошли до писателей.

– Откройте справочник, – авторитетно внушал нам рассказчик, – поглядите: восемьдесят процентов Московской писательской организации – евреи. Почему не армяне или нивхи какие-нибудь? Представьте: восемьдесят процентов нигерийских писателей – русские! Возможно ли такое?!

Для Виталя, похоже, наступал момент истины.

– Владимир Алексеевич, а писатель Анатолий П., как вы считаете, кто такой? – робко вопрошал Канавкин.

– Жи-и-ид, – удивлялся его наивности Солоухин.

– А Б. и М.?

– Тоже жида, – вздыхал писатель, – махровые, знаете ли...

– А поэт В.?

– Этот – полужид, да, Ондрюша-то, погорелец...

Они увлеченно поговорили еще некоторое время о евреях примерно в такой манере, в какой школьные учителя обсуждают на педсоветах неисправимых двоечников или как служители зоопарка делятся друг с другом о повадках любимых, но, положа руку на сердце, глубоко бестолковых мартышках. «Пора», – решила я и легонько наступила под столиком Витале на ногу. Он уловил условный знак, и лицо его острадалилось. Я наступила второй раз. Канавкин зачастил:

– Вот, Владимир Алексеевич, вы не подумайте чего плохого, я не хотел, а Оля говорит: давай, что тут такого? Вы, конечно, можете обидеться, но Оля (он спешил меня «сдать»), короче, мы принесли вам бутылку водки и банку огурцов!

– Да? – приятно удивился писатель и впервые посмотрел на меня с любопытством, – так давайте выпьем!

«Где огурцы, тут и пьяницы». Мы перешли в другую комнату. Она мне показалась еще больше и еще пустыннее. Иконы в киоте, в сверкающих позолотой окладах; огромный, бильярдных размеров стол. Огурцами мы, конечно, не ограничились. Я взялась организовывать

закуску, и писатель разрешил мне потряхнуть свой холодильник. Голого места вокруг бутылки не осталось: ветчина заморская, грибы уральские, капуста русская, зелень кавказская. Сели мы с Виталей напротив Солоухина, но обстановка такая, что вроде бы обнялись. Выпили за здоровье, за русскую литературу. Крепы пали, язык у меня развязался:

– Ева из ваших книг – кто она? Помните, вы писали:

Сыплет небо порошею
На цветы, на зарю,
«Помни только хорошее»,-
Я тебе говорю.

Время мчится непрошено,
Мы уходим скорбя.
Помни только хорошее,
Заклинаю тебя.

Оглянусь на хорошую
На последнем краю –
Светишь в зарослях прошлого,
Словно Ева в раю.

– Да кто, женщина, – нехотя взялся объяснять Солоухин. – Евгения ее звали, а я ее – Евой. Мы с ней в Польшу вместе ездили...

– А что с ней сейчас?

– Ничего, живет себе, когда и позвонит. Она хотела, чтоб я женился на ней, а как семью рушить – у меня две дочки, супруга.

– Неужели от такой большой любви ничего не осталось? – я пришла в ужас.

– Почему же: книги, воспоминания, добрые годы. Разве этого мало? – Солоухин недоумевал.

Я горестно затрясла головой: мне казалось, что мало. Любовь – величина совсем не равная земному времени. Неужели я ошибаюсь? Нет, все не может кончиться банальным самоуничтожением, человек не властен над таким великим таинством, – теперь уже Виталя наступал мне на ногу, оказывается, свои возражения я бормотала вслух.

Мужчины стоя выпили за женщин и за любовь.

– Понимаете, я близнец по гороскопу, – рассуждал писатель, – а близнецы – это всегда двойственность. Допустим, сижу я дома, день хороший, никого нет, звонит женщина: приезжай. Я собираюсь, не спеша, правда, что-то меня томит. И тут другая звонит: я к тебе еду, мол. Все, меня раздирают противоречия: и к первой охота, и со второй не прочь. Как быть? И так всю жизнь. И не только с женщинами, – хитро завершил рассказчик и слабо мне подмигнул. Виталя от таких откровений и знаков внимания совершенно опьянел и сидел с круглыми глазами.

– А жена ваша где? – поинтересовалась я.

– Старуха-то? Она в городе сидит, сторожит квартиру. Решетки на окна поставила, добра много...

«Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!» Я вонзила вилку в тарелку с соленьями, насмелилась и спросила, сбиваясь:

– Владимир Алексеевич! Все ваши книги вам равны, они хорошие; но вам никогда не хотелось себя превозмочь, из себя выйти, ну вроде как впереди лошади бежать, впереди саней, на которых вы едете!

– Конечно, мои книги мне равны, – не понял писатель, – а как же, так всегда и есть, – я покаянно свесила голову и замолчала.

А разговор неожиданно свернул на печальную тему:

– Когда умру, так попросил похоронить меня в Оледино, на родине, – спокойно размышлял писатель.

– Что вы, что вы такое говорите! – испугался и закрестился Виталя.

– Да чего уж там, – хладнокровно заметил Солоухин, – все умрем. Так вот, у нас в Оледино на кладбище сухо, песочек, земляника летом растет. И люди поминать будут. А тут кинут в какую-нибудь яму с водой, и – привет. А в Оледино я уже и место себе подобрал, – он говорил все тише, видно было, что наша встреча, застолье, разговоры утомили его; глаза закрывались, как у больного цыпленка, он задремывал.

Мы распрощались. «Простите на глупости, не судите на простоте!»

Пошли дни. Канавкин любил рассказывать в редакции, как мы «пили с Солоухиным», представлял он в ролях, очень похоже, подстраивался под владимирский говорок писателя, изображал мои якобы жеманные жесты по натягиванию подола юбки на коленки, ноги ставил циркулем; передавал свою бестолковость и имел на людях большой успех.

Когда зрители расходились, мы начинали ссориться. «Зачем ты пообещал ему текст? Теперь человек ждет, надеется!» – «Я уже написал», – юлил Виталя. «Где? Покажи?» – «В голове, у меня все давно сложилось, все готово», – оправдывался Канавкин. Вообще, вранье было естественным состоянием его души.

Текст Виталя так и не написал. Зато меньше чем через год после нашей встречи в Переделкино он сотворил некролог.

«Андрей Вознесенский называл его «соло земли». Солоухин любил красоту. За это его ругали.

Солоухин не любил вычурный авангард в искусстве. Считал, что многое в нем от незнания, непрофессионализма, шарлатанства. Один из первых в советский период рассказал о красоте русской иконы. И опять его ругали за то, что верует в Бога. Но несмотря на нападки критиков писал о том, что близко, понятно и красиво для людей, по-настоящему ценящих русскую духовную литературу XIX и начала XX веков. В той литературе – истоки его творчества. Перечитайте «Владимирские проселки», «Каплю росы», «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Варшавские этюды», перечитайте изумительное эссе о лилии Виктории-регии. Эти книги останутся с нами навсегда. Стихи останутся. Сколько в них любви! Любовь – движительница, главная тема его творчества. И его земного одиночества. Оно оборвалось вместе с его нелегкой жизнью.

И прежде чем погаснет свет сознания
В моих глазах,
Успеть бы только мне
Склоненным ликом мирозданья
Хоть миг один побыть наедине.

Дал бы Бог, чтобы успел... Дал бы Бог... Дал бы Бог...

Виталя шлепнул мне на стол глянцевый номер «Глобуса», открытый на странице с некрологом:

– Ну как?

– Замечательно, – сказала я и чуть не заплакала. – Ты превосходный гробовщик, Канавкин...

Уже после смерти Солоухина мне попала его книга о евреях «Последняя ступень». Как и все «просветительские», «идейные» вещи, она показалась мне очень наивной. Я читала ее со смешанным чувством вины, жалости и какого-то бабьего, интуитивного понимания. Ну, не для славы же он ее написал? Для спасения души, потому «Последняя ступень»...

Канавкин встал передо мной, как лист перед травой, когда я дочитывала последнюю страницу.

– Дай! – заканючил он.

– Купи, – сухо посоветовала я.

– Олечка, я прошу тебя, не мучай, ты знаешь, как мне это надо! Хочешь, на колени встану!

– Не надо коленопреклонений, полы вторую неделю никто не моет, – желчно заметила я. Мне было жаль отдавать книгу: – Неси двадцать два рубля, и дело сделано.

Невероятно, но гобсек Канавкин, вечно сшибающий деньгу, начал выгребать мелочь из карманов.

– Ладно, – слегка сжалилась я. – Двадцать. Два рубля – за амортизацию...

«Глобус» лопнул. Журналисты, как травленные тараканы, расползлись кто куда. Связь с Канавкиным была утрачена.

Я хваталась за любое дело, но толку от моей расторопности не прибавлялось. Требования «новой журналистики» были удивительны: балансирование на грани бульварности и бульварщины, – как сказал мне ответственный секретарь одной не самой желтой газеты. Нигде я не держалась больше двух недель.

Прошлым летом меня занесло во Владимирскую область – делать для радио репортаж с условным названием «Будни деревни Колоново».

Первое, что я увидела на автостанции районного городка Юрьева-Польского – стенд «Их разыскивает милиция». Лица от многократного ксерокопирования казались злобными и голодными. Из текстов под фотографиями следовало, что все преступники – местные.

День был субботним, автостанция забита до отказа сельским людом, но, несмотря на порядочное скопление народа, стояла жуткая, будто наполненная тяжелой думой, тишина, такая, какая бывает перед поминками. Подошел автобус в мою сторону. Радостно было двинуться из этого страшного города, с дряхлым собором, где на колокольне вместо креста была прикручена телевизионная антенна; с умирающими улицами, дышащими равнодушием и запустением; с несколькими пристанционными ларьками, вульгарно сияющими разноцветными бутылками.

Автобус, старый ЛИАЗ, рычал на подъемах, поскуливал на спусках. Я вглядывалась в своих попутчиков. Мужиков было мало, и всё какие-то убогие, испитые, тщедушные, с чертами юродивых. Бабы напоминали старух – почти все беззубые, с жесткими, неприступными морщинистыми лицами. Нелепо смотрелись среди них несколько молодых, грубо раскрашенных дешевой сине-красной косметикой. Одна женщина держала на руках сопливого, неуженного ребенка, одетого в какое-то старье, вероятно, с третьего или четвертого плеча. Дитя отстраненно глядело в окно и даже не пыталось обратить на себя внимание.

Как и на автостанции, здесь стояла угнетенная, больная тишина. Никто не обсуждал покупок, или базарной торговли, или деревенских новостей. Никто не говорил о политике – местной или центральной. Не чувствовалось даже подспудного движения мысли, ее «шепота», словно эти люди и думать уже перестали.

С облегчением рассталась я со странным автобусом. Водитель высадил меня на повороте – несколько километров до места нужно было пройти пешком. Асфальт отливала сталью, и небо было стальным, и далекие горизонты, у которых стояли серые, похожие на больших, обиженных мышей, тучи. Шла вторая половина августа, было не жарко, муторный ветерок клонил травы, срывал несколько тяжелых дождевых капель и утихал, вздыхая. Вздыхала и я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.